

О будущности наших образовательных учреждений

Фридрих Ницше

О будущности наших образовательных учреждений
(1871 — 1872)

Предисловие

которое следует прочесть перед лекциями, хотя оно, собственно говоря, к ним не относится (1872)

Читатель, от которого я чего-либо ожидаю, должен обладать тремя качествами. Он должен оставаться спокойным и читать не торопясь; не припутывать постоянно самого себя и свое «образование»; не ожидать в конце, как бы в виде результата, новых таблиц. Таблиц и новых расписаний уроков для гимназии и других школ я не обещаю и, наоборот, дивлюсь необычайной природе тех, которые в состоянии отмерить весь путь от глубины эмпирии до высот истинно культурных проблем и затем снова спустится оттуда в низины самого засушенного регламента и кропотливого составления таблиц. Я доволен уже, когда, запыхавшись, заберусь на достаточно высокую гору и смогу сверху наслаждаться открывшемся свободным горизонтом: поэтому именно в этой книге я не буду в состоянии удовлетворить любителей таблиц. Я, правда, вижу приближение времени, когда серьезные люди, совместно трудящиеся на пользу совершенно обновленного и очищенного образования, сделаются снова законодателями повседневного воспитания — воспитания, направленного именно к такому образованию. Вероятно, им тогда снова придется составлять таблицы. Но как далеко это время! И чего только не случится в промежутке! Быть может, между ним и настоящим лежит уничтожение гимназии, пожалуй даже и самого университета, или, по крайней мере, такое полное преобразование этих учебных заведений, что их старые таблицы представятся позднейшим взором пережитками эпохи свайных построек.

Книга эта предназначена для спокойных читателей, для людей, которые еще не захвачены головокружительной спешкой нашего стремительно катящегося века и не испытывают идолопоклоннического наслаждения, когда бросаются под его колеса; для людей, следовательно, которые еще не привыкли измерять ценность каждой вещи экономией или потерей времени. А это значит — для очень немногих. Зато у этих людей "еще есть время", они смеют, не краснея перед самим собой, отдавать самые плодотворные и ценные минуты своего дня думам о будущности нашего образования, они дерзают верить, что проведут полезно и достойно время до вечера *meditatio generis futuri*. Такой человек не разучился еще думать во время чтения, он еще владеет секретом чтения между строк; да, он создан даже таким расточителем, что сверх того еще размышляет над прочитанным, быть может, долгое время спустя после того, как отложит в сторону книгу! И не для того чтобы написать рецензию или опять-таки книгу, но просто чтобы поразмышлять. Легкомысленный расточитель! Ты, мой читатель, ибо ты будешь достаточно спокоен, чтобы отправиться вместе с автором в длинный путь. Целей этого пути он не в состоянии видеть, но он должен в них искренно верить, чтобы позднейшее, быть может, еще отдаленное, поколение увидело глазами то, к чему мы, слепые, руководимые инстинктом, движемся только ощупью. Если же читатель полагает, что достаточно лишь быстрого скачка, радостно смелого деяния, если он считает, что все существенное достижимо при помощи новой «организации», введенной государственным порядком, то мы опасаемся, что он не поймет ни автора, ни выставленной проблемы.

Наконец, следует третье, самое важное из требований, предъявляемых к читателю: чтобы он по привычке современного человека ни в коем случае не вмешивался на каждом шагу в виде масштаба себя и свое «образование», думая, что в лице его он владеет критериями всех вещей. Мы хотели бы видеть его образованным настолько, чтобы иметь самое высокое, пренебрежительное мнение о своем образовании. Тогда он, вероятно, доверчиво всего отдастся под руководство автора, который осмеливается говорить с ним, именно исходя лишь от незнания и знания об этом незнании. Для себя же автор хочет претендовать перед другими лишь на сильно обостренное чувство специфичности нашего современного авторства, того, что отличает нас, варваров XIX столетия, от варваров других эпох. С этой книгой в руках он отыскивает читателей, волнуемых подобным же чувством. Откликнитесь вы, разьединенные, в существование которых я верю! Вы, отрекшиеся от своего «я», высрадавшие на самих себе все муки гибнущего, искаженного немецкого духа. Вы, созерцатели, чей взор не способен, торопливо высматривая, скользить от одной поверхности к другой. Вы, высокие духом, которых Аристотель восхвалял за то, что вы медлительно и бездеятельно проходите жизнь, пока вас не потребует высокая доблесть или великое дело, вас призываю я! Не уползайте только на этот раз в нору вашей отчужденности и вашего недоверия. Подумайте, что эта книга должна стать лишь вашим герольдом. Но ведь если вы сами, в своих собственных доспехах появитесь на поле битвы, то кому же тогда придет охота оглянуться назад на герольда, который вас призывал?

Предполагавшееся вступление (1871)

Заглавие, которое я дал моим лекциям, должно было, как полагается каждому заглавию, быть, возможно, более определенным, ясным и убедительным, но благодаря излишку определенности вышло, как я теперь вижу, чересчур кратким и вследствие этого опять-таки неясным. Поэтому я должен начать с объяснения моим почтенным слушателем этого заглавия, а тем самым и задачи самих лекций и, если потребуется, даже извиниться за него перед нами. Итак, если я обещал говорить о будущем наших образовательных учреждений, то я при этом вовсе не имел в виду специально будущего развития наших базельских учреждений этого рода. Пусть вам нередко покажется, что многое из моих общих утверждений и может быть пояснений на примере наших местных учебных заведений; все же не я делаю эти пояснения и поэтому отнюдь не желал бы нести ответственность за них. И это именно по той причине, что я себя считаю слишком чужим и неопытным и слишком мало еще освоившимся со здешними условиями для того, чтобы правильно оценивать данную специальную конфигурацию образовательных условий или с уверенностью рисовать ее будущее. С другой стороны, я слишком хорошо знаю, в каком месте мне предстоит читать эти лекции, а именно в городе, который непропорционально грандиозном масштабе, положительно пристыжающем другие более обширные государства, стремится содействовать образованию и воспитанию своих граждан. Поэтому, я конечно, не ошибусь, если предложу, что там, где настолько больше делают в этой области, там о ней настолько же больше и думают. И моим желанием, мало того, предварительным условием успешности моего дела должно быть духовное общение со слушателями, которые так же много думали над вопросами образования и воспитания, как полны желания содействовать делом тому, что признали правильным. При грандиозности задачи и краткости времени я буду понятен лишь для таких слушателей; они должны тотчас же угадывать то, о чем пришлось умолчать, ибо предполагается, что они вообще нуждаются только в напоминании, а не в поучении.

Если я таким образом вынужден безусловно отклонить от себя репутацию непрошенного советчика в вопросах базельской школы и образования, то еще менее думаю я о том, чтобы с горизонта современных культурных народов предсказывать грядущие судьбы образования и его органов. Эта чудовищная даль кругозора слепит мой взор, подобно тому как и чрезмерная близость лишает его уверенности. Итак, под именем наших образовательных заведений я понимаю не специально базельские и не бесчисленные формы учебных заведений широкой, охватывающей все народы современности, но лишь немецкие учреждения этого рода, с которыми мы имеем удовольствие сталкиваться даже здесь. Нас должно занимать будущее этих немецких учреждений, т. е. будущее народной немецкой школы, немецкой реальной школы, немецкой гимназии, немецкого университета. При этом мы на этот раз отказываемся от всяких сравнений и оценок и особенно будем остерегаться лестной иллюзии, будто наши условия являются общими, всюду пригодными и непревзойденными образцами для других культурных народов. Достаточно того, что это наши школы и что они не случайно стоят с нами. Они ведь не навешаны на нас извне, как какая-нибудь одежда, но, будучи живыми памятниками выдающихся культурных движений, соединяют нас с прошлым народа и являются в существенных чертах таким святым и досточтимым наследием, то я могу говорить о будущем наших учебных заведений лишь в смысле наивозможнейшего приближения к идеальному духу, из которого они родились. При этом для меня несомненно, что многочисленные изменения, которые наше время позволило себе произвести над ними, чтобы сделать их «современными», по большей части лишь искривления и уклонения первоначальной возвышенной тенденции их основания. И от будущего мы в этом отношении смеем ожидать общего обновления, освежения и прояснения немецкого духа, которое позволит ему до известной степени заново породить эти учреждения; и последние после этого рождения будут казаться одновременно и старыми, и новыми, тогда как теперь они большей частью претендуют лишь на то, чтобы быть «современными» и «сообразными с требованиями времени».

Лишь в смысле такой надежды говорю я о будущем наших учебных заведений; и это второй пункт, относительно которого я должен в виде извинения объясниться с самого начала. Величайшее из всех притязаний — это желание быть пророком, поэтому отказ от этого притязания звучит почти смешно. Никто не должен был бы высказываться в пророческом тоне о будущем нашего образования и связанной с ним будущности воспитательных средств и методов, если он не в состоянии доказать, что это будущее образование в какой-то мере уже является настоящим, которому следует лишь разрастись в объем и распространиться, чтобы доказать должное внимание на школу и воспитательные учреждения. Пусть же позволят мне, подобно римскому гаруспику, предугадать внутренности по внутренностям настоящего — что в данном случае значит не более не менее, как обещать в будущем победу одной из уже существующих образовательных тенденций, несмотря на то что в данный момент она не пользуется ни любовью, ни уважением, ни распространением. Но я с величайшей уверенностью допускаю, что она победит, ибо имеет великого и могучего союзника — природу. Ведь мы, разумеется, не можем замалчивать того, что многие предусловия наших современных методов образования носят характер неестественности, и наиболее роковые слабости нашей современности стоят в связи именно с этими неестественными методами образования. Тот, кто чувствует себя вполне солидарным с этой современностью и принимает ее как нечто «самопонятное», не возбуждает нашей зависти ни этой уверенностью, ни этим отвратительного производства модным словом «самопонятный». Тот же, кто, достигнув противоположной точки зрения, готов прийти в отчаяние — тому уже нечего бороться, ему достаточно лишь отдаться уединению, чтобы скорее остаться одному. Между теми «самопонятными» и этими одинокими стоят преисполненные надежды

борцы, их наиболее благородный и возвышенный выразитель, наш великий Шиллер, как его охарактеризовал Гете в эпилоге к «Колоколу»:

"Его ланиты все ярче и ярче рдели той юностью, которая нас никогда не покидает, той смелостью, которая рано или поздно побеждает сопротивление косного мира, той верой, которая, постоянно возрастая, то бодро пробивается вперед, то терпеливо выжидает, чтобы могло действовать, расти и процветать добро и, наконец, пришел бы день для благородной души".

Пусть все, до сих пор мною сказанное, послужит для моих почтенных слушателей предисловием, задача которого — иллюстрировать заглавие моих лекций и защитить его от возможности перетолкования и от ничем не оправдываемых требований. И чтобы теперь, у преддверия моих рассуждений, тотчас же перейти от заглавия к делу и описать общий ход мыслей, руководясь которым мы будем вести обсуждение наших образовательных учреждений, я должен убить у этого преддверия, в виде геральдического щита, ясно сформулированный тезис, который будет напоминать каждому входящему, в чей дом и усадьбу он должен вступить — если только после ознакомления с этим геральдическим щитом не предпочтет повернуться спиной к дому и усадьбе, ворота которых он украшает. Мой тезис гласит:

Два мнимо противоположных течения, одинаково гибельно по воздействию и в конце концов совпадающих по результатам, господствует в настоящее время в наших, первоначально основанных на совершенно иных фундаментах, образовательных учреждениях: с одной стороны, стремление к возможно большему расширению образования с другой стороны, стремление к уменьшению и ослаблению его. Сообразно первому стремлению следует переносить образование во все более широкие круги; сообразно второй тенденции предполагается, что образование должно отречься от своих чересчур автономных притязаний и встать в служебное и подчиненное отношение к другой жизненной форме, а именно к государству. Перед этими роковыми тенденциями к расширению и сокращению пришлось бы впасть в безнадежное отчаяние, если бы не представлялось возможным содействовать победе двух противоположных истинно немецких и одинаково богатых будущих тенденций, т. е. стремлению к суждению и сосредоточению образования (как противовес возможно большему расширению его) и стремлению к усилению и самодовлению образования (как противовес его сокращению). Если же мы верим в возможность победы, то право на это дает нам сознание, что обе эти тенденции, расширения и сокращения, настолько же противоречат вечно неизменным намерениям природы, насколько необходимым законам этой же природы, и вообще истиной является сосредоточение образования на немногих избранных, тогда как тем двум стремлениям может удалиться обоснование лишь ложной культуры.

Лекция первая

(читанная 16 января 1872 г.)

Уважаемые слушатели, тема, над которой вы намереваетесь размышлять вместе со мной, так серьезна и важна и в известном смысле так тревожна, что я и на вашем месте пошел бы к каждому, кто обещал бы научить меня чему-либо относительно ее, — хотя он был бы и очень молод и мне казалось бы невероятным, что он в состоянии от себя, собственными силами дать что-нибудь удовлетворяющее и соответствующее такой задаче. Ведь было бы невозможно, что он слышал что-либо правильное насчет тревожного вопроса о будущности наших образовательных учреждений и готов с вами поделиться; было бы возможно, что он имел выдающихся учителей, которым уже скорее приличествует предрекать будущее, особенно если они, подобно римским гарусникам, гадают по внутренностям настоящего.

В действительности и случилось нечто подобное. Однажды, в силу странных, но, в сущности, вполне невинных обстоятельств, я был свидетелем разговора, который вели на эту тему два замечательных человека, и в моей памяти так крепко запечатлелись основные пункты их рассуждений и все понимание и постановка данного вопроса, что с тех пор, задумываясь над подобными вещами, я сам всегда попадаю в ту же колею, с той лишь разницей, что я часто не обладаю тем непоколебимым мужеством, которое, у моего удивления, обнаружили тогда эти люди, как в смелом высказывании запретных истин, так и в еще более смелом построении собственных надежд. Тем полезнее казалось мне закрепить когда-нибудь письменно такой разговор, чтобы привлечь и других к обсуждению этих из ряда вон выходящих взглядов и мнений. И для данной цели мне по особым причинам кажется удобным воспользоваться именно этими публичными лекциями.

Я очень хорошо сознаю, где именно я рекомендую общему рассмотрению и обсуждению вышеупомянутый разговор — в городе, который содействует образованию и воспитанию своих граждан в непропорционально широком масштабе — в масштабе, который должен был бы устыдить более обширные государства; так что я, конечно, не ошибусь, высказывая предположение, что там, где настолько больше делают для этих вещей, о них настолько же больше и думают. Поэтому замечу, что при передаче упомянутого разговора я буду вполне понят лишь теми слушателями, которые немедленно отгадывают то, на что можно было лишь намекнуть, дополняют то, о чем пришлось умолчать, которые вообще нуждаются только в напоминании, а не в поучении.

Позвольте же теперь, уважаемые слушатели, перейти к рассказу пережитого мною невинного события и менее невинного разговора до сих пор не названных мною личностей.

Представьте себе состояние молодого студента, т. е. то состояние, которое при безудержном и стремительном движении нашего времени является прямо чем-то невероятным, которое надо пережить, чтобы поверить в возможность такого беззаботного самообаявания, такого отвоенного у минуты вневременного чувства довольства. В таком состоянии провел я вместе с одним ровестником-товарищем год в университетском городе Бонне на Рейне. Год этот, не связанный, благодаря отсутствию всяких планов и целей, ни с какими намерениями будущего, рисуется моему теперешнему восприятию почти каким-то сном, выделенным рамками предыдущих и последующих промежутков бодрствования. Нам обоим никто не мешал, хотя мы жили в среде многолюдного товарищеского союза, волнуемого в сущности, иными стремлениями, и только время от времени нам приходилось удовлетворять или отклонять чересчур настойчивые требования наших сверстников. Но даже эта игра с противоположным элементом носит теперь, когда я ее вспоминаю, сходство с теми помехами, которые каждый переживает во сне, когда, например, кажется, будто сейчас полетишь, но какие-то необъяснимые препятствия тянут тебя вниз.

У меня и у моего друга была масса общих впечатлений из предыдущего периода нашего бодрствования, из нашей гимназической жизни, и об одном из них я должен упомянуть, так как он образует переход к пережитому мной невинному событию. Во время одного из предыдущих путешествий по Рейну, предпринятому в конце лета, у меня и у моего друга почти в одно время и в том же самом месте, но совершенно самостоятельно возник один и то же план, и это необычайное совпадение вынудило нас привести его в исполнение. Мы решили основать небольшой союз из нескольких товарищей, который бы являлся прочной и налагающей обязанности организацией, служащей для удовлетворения наших творческих наклонностей в области искусства и литературы. Говоря скромнее, каждый из нас должен был обязаться ежемесячно посылать собственное произведение, будь то стихотворение, статья, архитектурный проект или музыкальное произведение, — и каждому из остальных предоставлялось право с неограниченной откровенностью дружественной критики судить об этом произведении. Таким образом мы надеялись взаимным надзором поощрять и одновременно держать в узде наши образовательные стремления. И действительно, успех этого плана был таков, что мы навсегда сохранили благодарное, даже проникновенное чувство к тому моменту и месту, которые нам внушили эту затею.

Это чувство вылилось вскоре в подходящую форму: мы взаимно обязались друг перед другом, если представится только какая-нибудь возможность, ежегодно посещать в этот день уединенное местечко у Роландсека, где мы некогда, в конце лета, сидя в задумчивости друг рядом с другом, внезапно почувствовали себя осененными одним и тем же намерением. Собственно говоря, это обязательство недостаточно строго соблюдалось нами; но именно потому, что на нашей совести тяготел неоднократный грех такого упущения, мы оба в год боннского студенчества, когда наконец снова очутились на Рейне, твердо решили удовлетворить не только наше постановление, но и наше чувство, наше благодарное одушевление и в данный день благоговейно посетить местечко у Роландсека.

Это оказалось для нас довольно затруднительным: так как именно в этот день наш веселый и многочисленный студенческий союз сильно помешал нам, задал нам массу дела и изо всех сил натягивал нити, которыми мог задержать нас. Наш союз назначил на этот день большую торжественную поездку в Роландсек, чтобы в конце летнего семестра еще раз собрать всех членов и отпустить их затем по домам с лучшими прощальными воспоминаниями.

Стоял один из тех прекрасных дней, какие, по крайней мере в нашем климате, только и бывают в эту пору лета: небо и земля гармонично и спокойно плыли рядом, чудесно слиты из солнечного тепла, осенней свежести и лазурной бесконечности. В пестрых фантастических костюмах, которыми, при траурности прочих одеяний, теперь вправе щеголять только студенты, разместились мы на пароходе, празднично разукрашенном в нашу честь вымпелами, и водрузили на его палубе знамена нашего союза. С обоих берегов Рейна время от времени раздавались сигнальные выстрелы, которыми, согласно нашему распоряжению, прибрежные жители, а прежде всего хозяин гостиницы в Роландсеке, оповещались о нашем приближении. Я не буду рассказывать ни о шумном шествии от пристани через все любопытно возбужденное местечко, ни о тех ни всякому понятных развлечениях и шутках, которые мы себе позволяли в своем кругу. Я обхожу молчанием постепенно оживлявшийся и ставший под конец буйным праздничный обед и невероятный музыкальный дивертисмент, в котором приняли участие все сотрапезники, выступая то отдельно, то общим хором, и дирижировать которым пришлось мне как музыкальному руководителю нашего союза, разучившему предварительно эту музыку со всеми. Во время несколько дикого и переходящего во все более быстрый темп финала я успевал сделать знак своему другу, и сейчас после завывающего заключительного аккорда мы оба исчезли за дверью; сзади нас как бы закрылась ревущая пропасть.

Внезапная освежительная, затаившая дыхание тишина природы. Тени стали уже шире, солнце рдело неподвижно, но низко, и от зеленоватых волн Рейна веяло легкой прохладой на наши разгоряченные лица. Так как празднование памяти нашего переживания падало на более поздние часы дня, то мы решили отдать последние светлые минуты одной из тех любимых забав, которых у нас было так много в то время.

Мы увлекались тогда страстью к стрельбе из пистолетов, и этот навык нам в последствии весьма пригодился для военной службы. Служитель нашего союза знал место нашей стрельбы, лежащее наверху в некотором отдалении, и принес нам заранее наши пистолеты. Это место находилось у верхней опушки леса, покрывавшие

небольшие горы сзади Роландсека, на маленьком неровном плато, совсем близко от почитаемого нами места основания нашего общества. На лесистом склоне, в стороне от места стрельбы, находилась маленькая безлесная полянка, как бы манившая к отдыху. Оттуда сквозь деревья и кустарники открывался вид на Рейн; как раз напротив красиво изогнутые линии Зибенгебиогге и главным образом Драхенфельс обрамляли горизонт, смыкаясь с деревьями, а центр этого закругленного выреза образовал сам сверкающий Рейн, держащий в объятиях остров Нонненверт. Это и было наше место — место, освященное общими мечтами и планами; мы хотели и должны были здесь уединиться в более вечерний час, чтобы закончить день так, как того от нас требовал наш обет.

В стороне, на упомянутой маленькой неровной площадке, стоял могучий дубовый пенёк, одиноко возвышаясь среди безлесной поляны и низких волнообразных возвышенностей. На этом пне мы когда-то соединенные усилиями вырезали отчетливую пентаграмму, которая еще сильнее растрескалась от непогоды и бурь последнего года и представляла из себя удобную мишень для нашей стрельбы. Было уже поздно, когда мы пришли к этому месту, и от дубового пня падала широкая заостренная тень на безлесную поляну. Было очень тихо: высокие деревья у наших ног закрывали нам вид на Рейн. Тем оглушительней звучал в этом уединении раскатистый звук наших выстрелов, и едва я выпустил вторую пулю в пентаграмму, как почувствовал, кто-то крепко схватил меня за руку, и увидел, что и моему другу таким же образом мешают зарядить пистолет. Быстро обернувшись, я разглядел рассерженное лицо какого-то старого человека и почувствовал в тоже время, как большая собака прыгнула мне на спину. Прежде чем мы, т. е. Я и мой товарищ, которого так же держал человек помоложе, успели произнести слова удивления, раздалась угрожающая стремительная речь старика. "Нет, нет, — закричал он на нас, — здесь нельзя стреляться на дуэли. Здесь меньше чем где-либо пристало это делать вам, господа учащиеся юноши! Прочь пистолеты! Успокойтесь, помиритесь, протяните друг другу руки. Как! Вы — соль земли, интеллигенция будущего, семя наших надежд — и вы не можете отрешиться от вздорного катехизиса чести с его законами кулачного права! Я не хочу апеллировать к вашим сердцам, но вашим головам это делает мало чести. Вы, чью молодость лелеяли язык и мудрость Эллады и Лациума и чей юный ум был рано предметом драгоценных забот, направленных на озарение его светлыми лучами всей мудрости и всего благородства прекрасного мира древности, — вы хотите сделать руководящей нитью своего поведения кодекс рыцарской чести, т. е. Кодекс невежества и грубости! Вглядитесь же в него как следует, переведите его на точные понятия, разоблачите его жалкую ограниченность и сделайте его пробным камнем не вашего сердца, но вашего ума, и если последний теперь его не отторгнет, то ваша голова не способна работать в той области, где необходимыми условиями являются энергичная сила суждения, легко разрывающая узы предрассудка, правильно рассуждающий ум, который в состоянии отделить истину от лжи даже там, где различие глубоко скрыто, а не лежит, как здесь, на лицо. А в таком случае, милейшие, ищите другого честного пути в жизни, идите в солдаты или выучитесь ремеслу — у него ведь золотое дно".

На эту грубую, хотя и правдивую речь мы стали возбужденно отвечать, постоянно перебивая друг друга: "Прежде всего вы ошибаетесь в главном, так как мы пришли сюда вовсе не для того, чтобы стреляться на дуэли, но чтобы поупражняться в стрельбе из пистолетов. Во-вторых, вы, по-видимому не знаете, как происходит дуэль: неужели вы думаете, что мы встретились бы друг с другом в этом уединенном месте как два разбойника, без секундантов, без врачей и т. д.? В-третьих, у каждого из нас своя точка зрения в вопросе о дуэли, и мы не желаем, чтобы нам навязывали напрошенные поучения вроде ваших".

Этот, разумеется, далеко не вежливый отпор произвел дурное впечатление на старика. Сначала, поняв, что дело идет не от дуэли, он стал дружелюбно смотреть на нас. Но наши заключительные слова раздосадовали его так, что он начал ворчать. Когда же мы позволили себе говорить о своих собственных точках зрения, он быстро подхватил своего спутника, повернулся и ядовито крикнул нам вслед: "Следует иметь не только точки зрения, но и мысли". А спутник воскликнул: "И почтение, даже если такой человек и ошибается".

Тем временем мой приятель успел зарядить свой пистолет и с криком «берегись» снова выстрелил в мишень. Этот немедленный треск за его спиной разъярил старика; он еще раз обернулся, с ненавистью посмотрел на моего приятеля и сказал, обращаясь к своему младшему спутнику. Более мягким голосом: "Что нам делать? Эти молодые люди приводят меня в отчаяние своими взрывами". "Я довожу до вашего сведения, — обратился к нам младший, — что ваши шумные забавы в данном случае являются настоящим покушением на философию. Обратите внимание на этого почтенного человека — он готов попросить вас больше здесь не стрелять. А когда просит такой человек..." — "Тогда такую просьбу, конечно, исполняют", — перебил его старик и посмотрел на нас.

В сущности, мы не знали хорошенько, как отнестись к подобному происшествию. Мы не понимали ясно, что общего имеют наши несколько шумные забавы с философией, и не представляли себе, почему мы в силу непонятных требований приличия должны уступить место нашей стрельбе, так что, вероятно, выглядели в ту минуту нерешительными и раздосадованными. Спутник заметил наше минутное замешательство и объяснил нам суть дела. "Мы вынуждены, — сказал он, — подождать несколько часов здесь в вашем ближайшем соседстве, так как сговорились встретиться здесь сегодня вечером с одним знаменитым другом этого выдающего человека. Для этой встречи мы выбрали спокойное место с несколькими скамейками здесь, в кустах. Нам не особенно приятно, если ваши непрерывные выстрелы станут ежеминутно вспугивать нас. Но мы предполагаем, что вы сами найдете невозможным продолжать вашу стрельбу, узнав, что перед вами один из наших первых философов, избравший

это спокойное и уединенное место для свидания со своим другом".

Это разъяснение еще больше встревожило нас. Мы почувствовали приближения опасности еще большей, чем потери места стрельбы, и поспешно спросили: "Где ваше место? Неужели здесь налево, в кустах"?

"Именно здесь".

"Но это место сегодня вечером принадлежит нам", — заявляет мой друг. "Нам нужно это место", — восклицаем мы оба.

Наше давно задуманное празднество было для нас в данный момент важнее всех философов мира, и мы так оживленно и возбужденно выражали свои чувства, что, вероятно, выглядели немного смешными с нашим непонятым, но весьма настойчиво заявленным требованием. По крайней мере философы, нарушители нашего мира, смотрели на нас вопросительно улыбаясь и как бы надеясь, что мы заговорим в свое оправдание. Но мы молчали, ибо ни в коем случае не хотели себя выдавать.

Так стояли обе группы молча одна против другой, пока закат широко разливался по вершинам деревьев. Философ смотрел на солнце, спутник — на философа, а мы оба — на наше лесное убежище, которое именно сегодня подвергалось такой опасности. Злобное чувство овладевало нами. К чему вся философия, думали мы, если она мешает быть одним и уединенно радоваться с друзьями, если она препятствует нам стать самим философами. Ведь нам казалось, что наш праздник воспоминания совершенно философского характера; на этом празднике мы хотели выработать серьезные решения и планы для нашей будущей жизни; в уединенном размышлении надеялись мы найти нечто, чему суждено было бы в будущем таким же образом повлиять на склад нашего внутреннего «я» и удовлетворить его запросы, как некогда сделала творческая деятельность предыдущих юношеских лет. Именно в этом и должен был состоять священный акт. Мы ничего не предпринимали заранее, а хотели только погрузиться в уединенное размышление, как тогда, пять лет тому назад, когда нам одновременно пришло в голову наше решение. Это должно было быть молчаливое празднование, всецело посвященное воспоминанию и будущему, причем настоящее служило только мысленной чертой между ними. И вдруг враждебный рок вторгнулся в наш волшебный круг — и мы не знали, как от него избавиться. А в странности совпадения нам даже чудилось что-то таинственное и притягательное.

Некоторое время мы стояли молча, разделившись на враждебные группы. Вечерние облака все сильнее розовели над нами, и вечер становился все спокойнее и мягче, а мы прислушивались к ровному дыханию природы, которая заканчивала дневную работу, довольная своим творением — совершенным днем. Вдруг тишину сумерек разорвал буйный, нестройный, ликующий клич, поднявшийся с Рейна, — это, вероятно, были наши товарищи студенты, которые теперь катались на лодках по Рейну. Мы подумали о том, что нас там не хватает, и почувствовали, что и нам чего-то недостает. Почти одновременно с приятелем я поднял пистолет. Эхо отбросило назад наши выстрелы и с ним вместе до нас донесся, как бы в виде ответного сигнала, хорошо знакомый крик снизу, ибо мы пользовались в нашем союзе славой страстных, но плохих стрелков. Но в тот же момент мы почувствовали все неприличие нашего поведения относительно молчаливых пришельцев-философов, которые до тех пор стояли, погруженные в спокойное созерцание, а теперь испуганно отскочили в сторону от нашего двойного выстрела. Мы поспешно подошли к ним и наперебой заговорили: "Простите! Мы выстрелили в последний раз, и это относилось к нашим товарищам на Рейне. Они это поняли. Слышите? Если вы во что бы то ни стало хотите занять то место в кустарниках, то позвольте по крайней мере и нам расположиться там. Там несколько скамеек, мы вам не помешаем; мы будем сидеть тихо и молчать. Но семь часов уже пробило, и мы должны быть на месте".

"Это звучит таинственнее, чем оно есть на самом деле, — добавил я после паузы. — Мы дали обещание провести там следующий час. На это у нас есть особые причины. То место освящено для нас хорошим воспоминанием, оно должно предвостечь нам и хорошее будущее. Поэтому мы постараемся не оставить в вас плохого воспоминания — хотя мы уже неоднократно беспокоили и пугали вас".

Философ молчал, но его младший спутник сказал: "К сожалению, наши обещания и уговоры связывают нас одинаковым образом с тем же местом и с тем же самым часом. Нам представляется только на выбор, обвинить ли судьбу или какого-нибудь кобольда за такое совпадение".

"Впрочем, друг мой, — сказал философ примирительно, — я теперь более доволен нашими молодыми стрелками, чем раньше. Заметил ли ты, как они спокойно стояли, когда мы смотрели на солнце? Они не разговаривали, не курили, они стояли смирно — я почти подозреваю, что они размышляли".

И быстро оборачиваясь к нам, спросил: "Вы размышляли? Об этом вы мне расскажете по пути к нашему общему месту отдыха". Мы сделали несколько шагов вместе и вошли, спускаясь по склону, в теплую влажную атмосферу леса, где уже было темно. Дорогой мне товарищ откровенно рассказывал философу свои мысли: как он боялся, что сегодня в первый раз философ помешает ему философствовать.

Старик замялся. "Как! Вы боитесь, что философ помешает вам философствовать? Подобные вещи случаются. Вы этого не испытали? Разве вы не убедились в этом на опыте в вашем университете? А ведь вы слушаете лекции по философии?"

Этот вопрос нас несколько смутил, ибо в последствии мы отнюдь не были повинны. А кроме того, тогда еще мы были полны невинной уверенности, что всякий, облеченный в университете чином и достоинством философа, уже есть философ: у нас именно не было опыта, и мы были плохо осведомлены. Мы чистосердечно признались, что еще не слушали лекции по философии, но, конечно, со временем наверстаем потерянное.

"Но что вы называете, — спросил он, — своим философствованием?" "Мы затрудняемся с определением, — отвечал я, — но приблизительно хотим серьезно поразмыслить, как лучше всего стать образованными людьми". "Это много и мало, — пробормотал философ, — подумайте же хорошенько над этим. Вот наши скамейки. Сядем как можно дальше друг от друга; я не хочу вам мешать размышлять о том, как вам стать образованными людьми. Желаю вам успеха и точек зрения, как в вашем вопросе о дуэли, самых самостоятельных, с иголочки новеньких точек зрения. Философ не хочет вам мешать философствовать: Не пугайте его только вашими пистолетами. Подражайте сегодня молодым пифагорейцам: они должны были молчать в течении пяти лет, чтобы стать служителями истинной философии. Быть может, и вам удастся помолчать в продолжении пяти четвертей часа, ради вашего будущего образования, которым вы так старательно занимаетесь".

Мы были у цели: наш праздник воспоминания начался. Снова, как пять лет тому назад, Рейн плыл в нежном тумане, снова, как тогда, просвечивало небо, благоухал лес. Мы приютились на крайнем конце самой отдаленной скамейки; здесь мы сидели почти спрятанные, так что ни философ, ни его спутник не могли видеть наших лиц. Мы были одни, когда до нас долетал отдаленный голос философа, то, проходя через шелест и движение листвы, через жужжащий шум многотысячных живых существ, кишачих в верхушках леса, он становился почти музыкой природы; он действовал как звук, как далекая однотонная жалоба. Нам действительно ничто не мешало.

Так прошло некоторое время, в течении которого закат понемногу бледнел и воспоминание о наших юношеских попытках к образованию все более отчетливо вставало перед нами. Нам казалось, что мы обязаны величайшей благодарностью нашему странному кружку. Он был для нас не просто добавлением к нашим гимназическим занятиям, но настоящим плодотворным обществом, в рамки которого мы заключили и нашу гимназию как частное средство, находящееся в распоряжении нашего общего стремления к образованию.

Мы сознавали, что в то время, благодаря нашему союзу, мы никогда не думали о так называемой профессии. Слишком часто встречающаяся эксплуатация этих годов государством, стремящимся создать себе как можно скорее пригодных чиновников и желающим убедиться в их безусловной приспособленности путем чрезмерно утомительных экзаменов, осталась совершенно чужда годам нашего образования. И как мало нами руководило какое-нибудь соображение выгоды, расчет на быстрое производство и скорую карьеру показывал утешительный для каждого из нас факт что мы оба теперь еще не знали, чем мы будем, и даже не заботились об этом вопросе. Эту счастливую беззаботность воспитал в нас наш союз; и именно за нее мы были ему от души благодарны на нашем празднике воспоминания. Я уже говорил, что такое бесцельное наслаждение моментом, такое самоблаговолечение в качалке мгновения должно казаться невероятным, во всяком случае предосудительным, нашей враждебной всему бесполезному действительности. Как бесполезны мы были! И как гордились мы такой бесполезностью! Мы готовы были спорить, кто из нас менее бесполезен. Мы не хотели ничего значить, ничего представлять, ничего не ставить себе целью; мы не хотели иметь будущего. Пусть мы только бесполезные бездельники, удобно растянувшиеся на пороге настоящего. Ими мы и были! Хвала нам!

Так по крайней мере представлялись нам вещи тогда, уважаемые слушатели!

Отдавшись такому благоговейному самоанализу, я готовился уже формировать в таком же самодовольном тоне ответ на вопрос о будущем нашего образовательного заведения, когда мне показалось, что музыка природы, доносящая до нас с отдаленной философской скамьи, потеряла свой прежний характер и звучала все настойчивее и членораздельное. Внезапно мне стало ясно, что я слушаю, что я подслушиваю, подслушиваю со страстью, напряженно подавшись вперед. Я подтолкнул моего, быть может, несколько утомленного друга и сказал ему потихоньку: "Не спи! Мы можем тут кое-чему поучиться Это подходит к нам, хотя нас и не касается".

Дело в том, что я слышал, как младший спутник философа довольно взволнованно защищался, а философ нападал на него, постепенно возвышая голос: "Ты не изменился, — восклицал он, — к сожалению, не изменился; просто не верится, до какой степени ты все тот же, каким был семь лет тому назад, когда я видел тебя в последний раз и простился с тобой с сомнением и надеждой. К сожалению, снова и без всякого удовольствия должен совлечь с тебя оболочку современной образованности, в которую ты тем временем успел облечься, — и что я нахожу под ней? Правда, все тот же неизменный интеллигентный характер, как его понимает Кант, но, к сожалению, и все тот же интеллектуальный — что, вероятно, такая же, но менее утешительная необходимость. Я спрашиваю себя, какой смысл имеет моя жизнь, как философа, если целые годы, проведенные тобой в общении со мной, не могли наложить прочного отпечатка на твой далеко не тупой ум и несомненную жажду знания. Сейчас ты ведешь себя так, будто никогда не слышал кардинального суждения, относящегося ко всякому образованию, к которому я так часто возвращался в наших прежних беседах. Ну, как гласило это суждение?"

"Я его помню, — отвечал заслуживший выговор ученик. — Вы не раз говорили, что ни один человек не стремился бы к образованию, если бы знал, как неимоверно мало в конце концов число действительно образованных людей и как мало вообще их может быть. И все же это небольшое число истинно образованных людей было бы немисливо, если бы широкая масса, в сущности, против своей природы и побуждаемая лишь соблазнительным заблуждением, не стремилась так же к образованию. Поэтому не следует публично обнаруживать смешную непропорциональность между числом истинно образованных людей и грандиозным образовательным аппаратом, здесь кроется настоящий секрет образованности, состоящий в том, что бесчисленное множество людей по-видимому для себя, в сущности же, чтобы сделать возможным появление

немногих, стремится к образованию и работает для него".

"Да, таково это положение, — сказал философ, — и все же ты мог настолько забыть его истинный смысл, чтобы считать себя самым одним из этих немногих? Ты так думал — я это хорошо вижу. Но это относится к негодной сигнатуре нашей образованной современности Демократизируют права гения, чтобы облегчить свою собственную образовательную работу и нужду в образованности. Каждый хочет по возможности расположиться в тени дерева, посаженного гением. Хотят освободиться от тяжелой необходимости работать для гения и сделать возможным его появление. Как! Ты слишком горд, чтобы согласиться быть учителем? Ты презираешь теснящую толпу учащихся? Говоришь с презрением о задаче учителя? Ты хотел бы, враждебно оградившись от этой толпы, вести одинокую жизнь, подражая мне и моему образу жизни? Ты думаешь одним прыжком достигнуть того, чего мне пришлось в конце концов добиться после долгой упорной борьбы за возможность вообще жить жизнью философа? И ты не боишься, что одиночество отомстит тебе? Попробуй только стать отшельником образования — надо обладать неистощимым богатством, чтобы самим собою жить для всех! Странные ученики! Они считают нужным всегда подражать самому трудному и высокому из того, чего удалось достичь учителю. Тогда как должны были знать, как это тяжело и опасно и как много способных и одаренных может погибнуть таким образом!"

"Я не хочу от вас ничего скрывать, учитель — сказал вслед за тем спутник, — я слишком много слышал от вас и слишком долго пользовался вашей близостью, чтобы всецело отдаться нашей теперешней системе образования и воспитания. Я ощущаю совершенно ясно те ужасные изъяны и недостатки, на которые вы указывали, и все же чувствую в себе мало силы для успехов в смелом бою. Мною овладело общее малодушие. Бегство в уединении не было высокомерием, надменностью. Я вам охотно расскажу, какую сигнатуру нашел я настоль оживленно и настоятельно обсуждаемых теперь вопросах образования и воспитания. Мне кажется, что следует различать два главнейших направления: два по-видимому противоположных, по влиянию одинаково пагубных и по результатам в конце концов совпадающих, течения господствуют в настоящее время в наших образовательных учреждениях; во-первых, стремление к возможно большему расширению и распространению и ослаблению его. Пусть образование будет по различным причинам перенесено в самые широкие круги — этого требует одна тенденция. Другая же предписывает образованию отказаться от своих наиболее благородных и возвышенных стремлений и ограничиться служением какой-либо иной жизненной форме, например государству.

Мне кажется, я подметил, с какой стороны явственнее всего раздается призыв к возможно большему расширению и распространению образования. Это распространение относится к числу излюбленных политико-экономических догматов настоящего. Как можно больше знания и образования, отсюда возможно большие размеры производства и потребления, а отсюда возможно большая сумма счастья — так приблизительно гласит формула. Здесь цель и результат образования — польза, вернее, нажива, возможно большая денежная прибыль. Образование определяется этим направлением приблизительно, как сумма знаний и умений, благодаря которой держатся на уровне своего времени, знают все дороги к легчайшей добыче денег, владеют всеми средствами, способствующими общению между людьми и народами. Настоящей задачей образования была бы, сообразно с этим, выработка возможно более годных к обращению людей, вроде того как называют годной к обращению монету. Чем больше таких годных к обращению людей, тем счастливее народ; и задача современных образовательных учреждений должна заключаться в том, чтобы помочь каждому возможно более развить задатки своей способности стать годным к обращению, дать каждому такое образование, чтобы он черпал из своей суммы знаний и умений возможно большую сумму счастья и выгоды. Каждый должен уметь правильно таксировать себя самого и знать, чего он вправе требовать от жизни. Союз интеллигенции и собственности, санкционируемый этими взглядами, считается прямо нравственным требованием. Здесь ненавистно всякое образование, которое делает одиноким, которое ставит цели, лежащие за пределами денег и выгоды, и растрчивает много времени. От таких образовательных тенденций здесь принято отделяться как от высшего эгоизма или безнравственного образовательного эпикуреизма. Признаваемой здесь нравственностью требуется нечто совершенно противоположное, а именно быстрота образования, нужна для того, чтобы быстро превратиться в существо, зарабатывающее деньги, и достаточная основательность образования, нужна для того, чтобы зарабатывать их очень большое количество. Человеку дозволяется вкушать лишь такое количество культуры, которое необходимо в интересах наживы, но столько же требуется и от него. Одним словом, человечеству свойственно претендовать на земное счастье, и поэтому образование необходимо. Но только поэтому".

"Здесь я хочу вставить несколько слов, — сказал философ. — При этом недвусмысленно охарактеризованном воззрении возникает большая, даже огромная пропасть, состоящая в том, что широкая масса когда-нибудь перепрыгнет промежуточную ступень и напрямик пойдет к этому земному счастью. Это называется теперь социальным вопросом. Ведь массе может показаться, что образование большинства лишь средство для земного счастья меньшинства. Наивозможнейшая распространенность образования настолько принижает последнее, что оно не в состоянии более давать никаких привилегий, никакого престижа. Самое общераспространенное образование — это варварство. Но я не хочу прерывать твоих объяснений".

Спутник продолжал: "Существует еще другие мотивы столь энергичного стремления к расширению и распространению образования, помимо упомянутого излюбленного политико-экономического догмата. В

некоторых странах страх перед религиозным гнетом так силен и боязнь последствий этого гнета так ярко выражена, что все классы общества с жгучей жадой стремятся навстречу образованности и впитывают именно те элементы, которые подрывают религиозные инстинкты. С другой стороны, государство, сплошь да рядом, в интересах собственного существования, стремится к более широкому распространению образованности, потому что оно все еще сознает в себе достаточно силы, чтобы впрячь в свое ярмо самое разнуздавшееся образование. Оно находит благонадежной образованность своих чиновников и своих войск, ибо оно всегда пригодно государству в его соперничестве с другими державами. В этом случае фундамент государства должен быть настолько широк и прочен, чтобы удерживать в равновесии сложное здание образования, подобно тому как в первом случае следы бывшего религиозного гнета должны еще быть достаточно чувствительны, чтобы побуждать к такому отчаянному противодействию. Следовательно, в тех случаях, где лишь боевой клич массы требует дальнейшей народной образованности, там я обыкновенно различаю, служит ли при этом стимулом чрезмерная тенденция к наживе и приобретению, или следы бывшего религиозного угнетения, или мудрое чувство самосохранения государства.

В противовес этому, мне казалось что хотя не так громко, но по крайней мере так же настойчиво раздается с разных сторон другая песнь — песнь о сокращении образования.

О том же обыкновенно шепчутся во всех ученых кругах; общий факт тот, что при теперешнем напряжении сил, которого требует от ученого его наука, образование ученого становится все более случайным и кажущимся, ибо теперь изучение наук так развилось в ширину, что если человек с хорошими, но не исключительными способностями захочет что-либо создать в них, то он должен заняться совершенно специальной отраслью и в следствие этого оставить нетронутыми все остальные. И если он в своей специальности стоит выше *vulgus'a*, то во всем остальном — т. е. в главном — он принадлежит к нему. Такой исключительный специалист-ученый становится похож на фабричного рабочего, который в продолжении всей жизни не делает ничего, кроме определенного винта или ручки к определенному инструменту либо машине, достигая, правда, в этом изумительной виртуозности. В Германии, где умеют прикрывать блестящей мантией мысли даже такие прискорбные факты, доходят до того, что восхищаются такой узкой специализацией наших ученых и считают положительным в нравственном смысле их растущее отдаление от истинного образования: верность в малом, верность ломовика получает значение декламационной темы, невежество относительно всего, что лежит за пределами специальности, выставляется на показ как признак благородной скромности.

В продолжении тысячелетий под словом образованный подразумевался ученый и только ученый. Исходя из опыта нашего времени мы едва ли почувствуем себя склонными к такому наивному отождествлению. Ибо теперь эксплуатирование человека в интересах науки является положением, признаваемым всюду безо всякого колебания. Но кто же спрашивает о ценности науки, которая, подобно вампиру, высасывает все соки своих созданий? Разделение труда в науке на практике направляется к той же цели, к которой время от времени сознательно стремятся религии: к уменьшению образования, даже к уничтожению его. Но то, что является вполне правомочным требованием со стороны некоторых религий, ввиду их возникновения и истории, должно будет вызвать когда-нибудь самосожжение науки. Сейчас мы уже дошли до того положения, что во всех общих вопросах серьезного характера, и прежде всего в верховных философских проблемах, человек науки, как таковой, является совершенно лишенным слова; и напротив, тот клейкий, связующий слой, который теперь отложился между науками — журналистика, — воображает, что призван выполнять здесь свою задачу и осуществлять ее сообразно со своей сущностью, т. е., как гласит само его имя, как поденщину.

В журналистике и сливаются вместе оба направления: расширение и ограничение образования протягивают здесь друг другу руки. Газета становится на место образования, и тот, кто даже будучи ученым претендует на образованность, обыкновенно опирается на этот клейкий передаточный слой, который смыкает скважины перед всеми жизненными формами, всеми классами, всеми искусствами, всеми науками и так же крепок и надежен, как только может быть газетная бумага. В газете — кульминационный пункт своеобразных образовательных стремлений настоящего; и журналист, этот слуга минуты, занял место великого гения, вождя всех времен, освободителя от минуты. Теперь же скажите мне сами, мой великий учитель, на что я должен был надеяться в борьбе с господствующим всюду искажением всех образовательных стремлений, откуда было взять смелости мне, отдельному лектору, когда я знаю, что над каждым свежесосеянным зерном истинной образованности тотчас же тотчас же беспощадно пройдет дробящий вал этой мнимой образованности? Подумайте, как бесполезна должна быть теперь утомительная работа учителя, который бы, например, захотел ввести ученика в бесконечно отдаленный и трудно достижимый мир эллинизма, в это истинное отечество образованности? Ведь тот же самый ученик в следующий час возьмет газету или современный роман или одну из тех просвещенных книг, одна стилистика которых уже отмечена отвратительной печатью теперешней варварской образованности".

"Остановись же на минуту! — воскликнул философ громко, и в голосе его звучало сожаление. — Я теперь тебя лучше понимаю, и мне не следовало бы говорить тебе раньше таких жестоких слов. Ты во всем прав, кроме своего малодушия. Теперь я скажу тебе кое-что в утешение".

(читанная 6 февраля 1872 г.)

Уважаемые слушатели! Те из вас, кого я только с этой минуты могу приветствовать в качестве своих слушателей и кто, только понаслышке знаком с лекцией, читанной три недели тому назад, должны будут примириться с тем, что их без дальнейших предупреждений введут в середину серьезного разговора, который я в тот раз начал передавать. Сегодня я лишь напомним оборот, под конец принятый этим разговором. Младший спутник философа только что честно и откровенно извинился перед своим выдающимся учителем и объяснил, почему он малодушно отказался от своей прежней учительской должности и предпочел проводить свои дни в безотрадном одиночестве, на которое он сам себя обрек. Высокомерное самомнение меньше всего было причиной такого решения.

"Слишком многое, — сказал правдивый ученик, — слышал я от вас, мой учитель, слишком долго я был вблизи вас, чтобы правдиво отдался господствовавшей до сих пор системе образования и воспитания. Я слишком живо ощущаю те непоправимые заблуждения и недостатки, на которые вы так часто указывали; и все же я нахожу в себе чересчур мало силы, чтобы добиться успеха в мужественной борьбе и разрушить укрепления этой мнимой образованности. Общее уныние овладело мною; бегство в уединение не было высокомерием и надменностью". Вслед за этим ученик, в свое извинение, так охарактеризовал общую сигнатуру этой образованности, что философ не выдержал и, перебив его, стал сочувственно успокаивать следующим образом: "Остановись же на минутку, мой бедный друг, — сказал он, — я теперь лучше понимаю тебя и не должен был говорить тех суровых слов. Ты во всем прав, кроме своего малодушия. Теперь я скажу тебе кое-что в утешение. Как долго, думаешь ты, будет господствовать в современной школе столь тяготящая тебя система образования? Не скрою от тебя своей уверенности на этот счет; ее время прошло, ее дни сочтены. Первый кто осмелится действовать совершенно честно в этой области, услышит, как ему отзовутся тысячи смелых душ. Ибо в сущности, среди благородно одаренных и горячо чувствующих людей нашего времени существует молчаливое единомыслие, в силу которого каждый из них знает, что ему пришлось претерпеть от образовательных условий школы, и хотел бы избавить по крайней мере грядущие поколения от этого гнета, хотя бы даже ценою себя самого. Если же все-таки дело нигде не доходит до полной откровенности и честности, то печальная причина этого лежит в педагогической скудности духа нашего времени. Именно здесь ощущается недостаток в истинно изобретательских способностях, в истинно практических людях, т. е. таких, которым приходят в голову хорошие и новые мысли и которые знают, что настоящая гениальность и настоящая практика должны необходимым образом встречаться в одном и том же индивидууме.

Трезвым же практикам именно не хватает удачных мыслей, т. е. опять-таки настоящей практики. Если мы ознакомимся с педагогической литературой нашего времени и не испугаемся при этом беспредельного ее скудоумия и неуклюжего топтания на одном месте, то в нас уже нечего больше портить. Здесь наша философия должна начинаться не с удивления, а с испуга. Тому же, кто не испугается, следует указать прочь руки от предметов педагогического мира. Правда, до сих пор правилом было обратное: те, кто пугался, робко убегали прочь, подобно тебе мой бедный друг, а трезвые и бесстрашные широко накладывали свои широкие лапы на самую нежную технику, которая только может существовать в искусстве, на технику образования. Но это не продолжится долго. Стоит только прийти честному человеку с хорошими и новыми идеями, для осуществления которых он не побоится порвать со всем существующим, стоит ему только раз показать грандиозный пример того, чего не сумеют повторить широкие лапы, которые одни и были деятельны до сих пор, как тотчас повсюду начнут по крайней мере понимать разницу, начнут чувствовать противоположность и задумываться над ее причинами, тогда как теперь еще многие в простоте душевной полагают, что широкие лапы — необходимая принадлежность педагогического ремесла!"

"Я бы хотел, уважаемый учитель, — перебил здесь спутник, — чтобы вы мне на отдельном примере сами пояснили ту надежду, которой так бодро дышат ваши слова! Мы оба знаем гимназию; полагаете ли вы, например, и относительно и этого учреждения, что честность и хорошие новые мысли растворят и здесь старые, цепкие привычки. Здесь, как мне кажется, все нападения осадных машин отражает не твердая стена, а роковая цепкость и скользкость всех принципов. Нападающему не приходится разбивать видимого и стойкого противника; этот противник замаскирован, он в состоянии принимать сотни образов, чтобы в одном из них ускользнуть от готовой схватки его руки и затем снова и снова трусливыми уступками и постоянным отскакиванием в сторону сбивать с толку нападающего. Именно гимназия заставила меня малодушно бежать в уединение, и я чувствую, что если здесь борьба поведет к победе, то и все другие образовательные учреждения должны будут уступить и что тому, кому приходится отчаиваться здесь, придется отчаиваться и в серьезных педагогических вопросах вообще. Итак, учитель просветит меня в вопросе о гимназии. Можем ли мы питать надежды на уничтожение или возрождение гимназии?"

"И я, — сказал философ, — придаю гимназии такое же высокое значение, как и ты. Образовательной целью, которую себе ставит гимназия, должны измеряться все остальные учреждения; они страдают от уклонения ее тенденции, через очищение и обновление гимназии очистятся и обновятся так же и они. Такое значение двигающего центрального пункта не может себе приписывать даже университет, который при его теперешнем строе, по крайней мере с одной важной стороны, может считаться только дальнейшим развитием гимназической

тенденции, что я в последствии разьясню тебе. Сейчас же рассмотрим вместе, что именно порождает во мне надежду на высказанную мною альтернативу, в силу которой культивированный до сих пор пестрый и трудно уловимый дух гимназии целиком рассеется в воздухе или же будет в корне очищен и обновлен. Чтобы не пугать тебя общими положениями, я напомним тебе сперва один из тех фактов гимназической жизни, которые мы все знаем по опыту и от которых мы все страдаем. Что представляет из себя теперь, строго говоря, преподавание немецкого языка в гимназиях?

Сначала я скажу тебе, чем бы ему следовало быть. По естественным условиям теперь каждый человек пишет и говорит таким дурным и вульгарным немецким языком, какой только возможен в газетную эпоху языка. Поэтому подрастающий юноша, из числа более тонко одаренных, должен быть насильственно помещен под стеклянный колпак хорошего вкуса и строгой филологической дисциплины. Если это невозможно, то я предпочитаю в будущем опять говорить по-латыни, так как стыжусь такого испорченного и оскверненного языка.

Разве задача среднего учебного заведения в этом пункте не состоит в том, чтобы авторитетно, достойно и строго направить на истинный путь филологически одичавших юношей и крикнуть им: "Отнеситесь серьезно к вашему языку! Тот у кого по настоящему не просыпается чувство священной обязанности, не имеет ни малейшего задатка для высшего образования. Здесь пробный камень того как высоко или низко вы цените искусство и на сколько вы ему близки, здесь — в вашем отношении к родному языку. Если вы не достигнете того, чтобы ощущать физическое отвращение перед известными словами и оборотами нашего журналистического обихода, то откажитесь от стремления к образованию. Ибо здесь в непосредственной близости, в каждом мгновении вашего разговора и письма у вас имеется пробный камень того, как трудна, как громадна теперь задача образованного человека и как мало вероятности в том, чтобы многие из вас достигли истинного образования".

Обращениями такого рода учитель немецкого языка в гимназии должен был бы привлекать внимание своих учеников на тысячу мелочей и с уверенностью, диктуемой хорошим вкусом, прямо запретить им употребление таких слов, как, например, beanspruchen, vereinnahmen, einer Sache Rechnung tragen, die Initiative ergreifen, selbstverständlich и так далее cum taedio in infinitum. Тому же учителю пришлось показывать на каждой строчке наших классических авторов, как тщательно и строго взвешивает каждый оборот тот, кто носит в сердце истинное чувство художника и обладает полным пониманием всего того, что пишет. Он должен постоянно заставлять своих учеников снова и лучше выражать ту же мысль и не ставить границы своим усилиям до тех пор, пока менее одаренными не овладеет священный ужас перед языком, а более одаренными — благородное одушевление им.

Итак, здесь перед нами одна из наиболее важных задач для так называемого формального образования: а что же мы находим в гимназии, на месте так называемого формального образования? Тот, кто умеет подвести под правильные рубрики то, что он здесь видит, знает, какого мнения ему следует быть о современной гимназии как о мнимом образовательном учреждении. Он найдет, что гимназия в своем первоначальном виде воспитывает не образованных, а лишь ученых, а в последнее время ее деятельность принимает такое направление, как будто бы она хотела воспитывать уже не ученых, а журналистов. Это может быть показано на способе преподавания немецкого языка как достаточно ярком примере.

Вместо чисто практического обучения, путем которого учитель должен был бы приучить своих учеников к строгому филологическому самовоспитанию, мы находим всюду попытки учено-исторической трактовки родного языка; то есть с ним обращаются так, как если бы он был мертвым языком и как будто бы не существовало обязательств перед его настоящим и будущим. Историческая манера стала до такой степени присущей нашему времени, что живое тело языка приносится в жертву анатомическому его изучению. Между тем образование начинается именно с умения обращаться с живым, как с живым, и начало задачи учителя, желающего дать образование, в том, чтобы отеснить всюду напирющий исторический интерес в тех случаях, где прежде всего следует научить правильно действовать, а не правильно познавать. Наш родной язык и есть та область, на которой ученик должен научиться правильно действовать; и лишь с этой практической стороны необходимо преподавание немецкого языка в наших учебных заведениях. Правда, кажется, что исторически метод значительно легче и удобнее для учителя; точно так же кажется, что он соответствует его более скромным дарованиям и вообще невысокому полету всех его желаний и стремлений. Но то же самое наблюдение сделаем мы во всех областях педагогической действительности. Наиболее легкое и удобное драпируется в плащ напыщенных претензий и гордых титулов. Единственная практичная деятельность в области образования, как, в сущности, более трудная, возбуждает взгляды недоброжелательства и презрения. Поэтому честный человек должен выяснить себе и другим и это quid pro quo.

Но что же дает обыкновенно учитель немецкого языка помимо побуждений чисто ученого характера к изучению языка? Как связывает он дух своего учебного заведения с духом тех немногих истинно образованных людей, которыми обладает немецкий народ, с духом его классических поэтов и художников? Вот темная и затруднительная область, которую нельзя осветить без страха. Но мы не должны ничего утаивать, если только некогда и здесь суждено всему обновиться. В гимназии отвратительное клеймо нашей художественной журналистики запечатлевается на несформировавшихся умах молодежи; здесь самым учителем сеются семена грубого, намеренного непонимания великих классиков, которое впоследствии выдает себя за эстетическую критику, а на деле лишь беззастенчивое варварство. Здесь ученики научаются отзываться в тон мальчишеского

превосходства о нашем единственном Шиллере, здесь их приучают с насмешкой смотреть на самые благородные чисто немецкие характеры из его произведений, каковы маркиз Поза, Макс и Текла, и от этой усмешки загорается гневом немецкий гений, эта усмешка заставит покраснеть то лучшее поколение, которое придет на смену.

Последняя деятельность учителя немецкого языка в гимназии, которую обыкновенно считают вершиной всего гимназического образования, — это так называемое немецкое сочинение. По тому признаку, что в этой области почти всегда с особой охотой подвизаются наиболее способные ученики, следовало бы убедиться, как опасна и увлекательна поставленная именно здесь задача. Немецкое сочинение — призыв к индивиду; и чем сильнее сознает ученик свои дифференцированные качества, тем более индивидуальный характер придаст он своему немецкому сочинению. Этот индивидуальный характер, кроме того, в большинстве гимназий требуется уже самим выбором темы. В нем для меня заключается сильнейшее доказательство вреда тех непедagogических тем, которые задаются даже в самых младших классах гимназии и заставляют учеников описывать свою собственную жизнь, свое собственное развитие., достаточно просмотреть списки таких тем, задаваемых в большинстве гимназий, чтобы прийти к убеждению, что большинству учеников суждено всю жизнь невинно страдать от этого слишком раннего, незрелого процесса созидания мыслей и что часто все позднейшее литературное творчество человека является печальным следствием этого педагогического прегрешения против духа.

Подумать только, что происходит при приготовлении такой работы в этом юном возрасте. Это первое собственное произведение; еще неразвившиеся силы в первый раз напрягаются для кристаллизации; головокружительное чувство вынужденной самостоятельности придает этим продуктам творчества первое, невозвратное, пьянящее очарование. Все природное дерзновение вызвано из глубин, все тщеславие, не сдерживаемое более прочными преградами, выливается в первый раз в литературную форму. С этой минуты молодой человек чувствует себя готовым; он чувствует себя существом, имеющим право высказываться, подавать голос, существом, даже призываемым к этому. Гимназические темы обязывают его высказывать свое решение о политических произведениях или характеризовать исторические личности, самостоятельно излагать серьезные этические проблемы или, повернув светоч, освещать свое собственное бытие и давать критический отчет относительно себя самого. Короче, целый мир труднейших задач разворачивается застигнутыми врасплох, до тех пор еще почти неосознанным юношей и предоставляется его решению.

Представим себе рядом с этим столь чреватых последствиями оригинальными работами обыденную деятельность учителя. Что в этих работах кажется ему заслуживающим порицания? На что обращает он внимание учеников? На все эксцессы формы и мысли, т. е. на все, что в данном возрасте вообще характерно и индивидуально. Тот поистине самостоятельный элемент, который при этом преждевременном возбуждении может проявиться только в неловкостях, резкостях и смешных чертах, т. е. именно индивид подвергается порицанию и забраковывается учителем в пользу шаблонной дюжинной благопристойности. На долго безличной посредственности, напротив, нападает неохотная похвала; ибо понятно, что она способна нагнуть скуку на учителя.

Быть может, найдутся еще люди, которые увидят во всей этой комедии немецкого сочинения не только самый нелепый, но и самый опасный элемент современной гимназии. Ведь здесь требуется оригинальность, и тотчас же отбрасывается та, которая единственно возможна в этом возрасте. Здесь предполагается формальное образование, которого теперь вообще достигают лишь немногие люди в зрелых годах. Здесь каждый без дальнейших околичностей рассматривается как способное к литературной деятельности существо, которое вправе иметь собственные мнения о самых серьезных вещах и личностях, тогда как правильное воспитание будет со всем рвением стремиться лишь к тому, чтобы подавить смешную претензию на самостоятельность суждения и приучить молодого человека к строгому повиновению скипетру гения. Здесь предполагаются широкие размеры изложения в возрасте, в котором каждое высказанное и написанное суждение — варварство. Прибавим же сюда и опасность, лежащую в легкой возбудимости самомнения в эти годы, подумаем о тщеславном ощущении, с которым юноша в первый раз любит в зеркале своим литературным отражением! Если охватить все это одним взглядом, то никто не усомнится в том, что все неудачи нашей литературно-художественной общественности постоянно снова и снова накладывают свое клеймо на подрастающее поколение. Эти недуги — торопливое и тщеславное творчество, постыдная фабрикация книг, полное отсутствие стиля, неперебродивший, безличный или жалкий в своей напыщенности слог, утрата всякого символа веры, сладострастие анархии и хаоса — короче, литературные черты нашей журналистики и нашей учености.

Лишь очень немногие теперь сознают, что, что быть может, из многих тысяч едва лишь один имеет право высказываться в качестве писателя, а все остальные, предпринимающие на свой страх и риск, должны заслуживать в награду за каждую печатную строчку лишь гомерический хохот со стороны действительно способных к суждению людей. Разве вид хромого литературного Гефеста, желающего нас чем-то угостить, не является по истине зрелищем, достойным богов? Воспитать в этой области серьезные и непреклонные привычки и воззрения — такова одна из верховных задач формального образования, тогда как всестороннее, безудержное развитие так называемой свободной личности следует считать лишь признаком варварства. Из всего до сих пор сказанного очевидно выяснилось, что по крайней мере при преподавании немецкого языка думают не об образовании, а о чем-то другом, именно об упомянутой свободной личности. И до тех пор пока немецкие

гимназии в заботах о сочинениях по немецкому языку будут играть в руку отвратительному и бессовестному борзописанию, до тех пор пока они не сочтут своей священной обязанностью ближайшую, практическую выучку в области слова и письма, до тех пор пока они не будут обращаться с родным языком так, как если бы он был необходимое зло или мертвое тело, — до тех пор я не причислю эти заведения к истинно образовательным учреждениям.

В вопросе о языке меньше всего заметно влияние классического прообраза. Уже из одного этого соображения так называемое классическое образование, которое должно исходить из наших гимназий, кажется мне весьма сомнительным и основанным на недоразумении. Ибо как можно было при взгляде на классический прообраз проглядеть ту необычную серьезность, с которой греки и римляне относились к своему языку, начиная с самых юношеских лет? Как можно было бы не признать своего прообраза в этом пункте, если бы действительно классический эллинский и римский мир служил верховным поучительным образцом воспитательного плана наших гимназий? Наоборот, кажется, что претензии гимназии на культ классического образования лишь неловкая отговорка, которая выставляется тогда, когда с какой-либо стороны за гимназией отрицается способность воспитывать для образованности. Классическое образование! Это звучит так значительно! Это устыжает нападающего, замедляет нападение — ибо кто может заглянуть сразу до самого дна этой вводящей в заблуждение формулы! А такова давно привычная тактика гимназии: смотря по тому, откуда раздается призыв к битве, она пишет на своем далеко не украшенном знаками отличия щите один из сбивающихся с толку девизов: классическое образование, формальное образование или научное образование — три достославные вещи, которые к сожалению, заключают противоречие отчасти в самих себе, отчасти по отношению к друг другу и которые создадут лишь образовательного трагелафа*, в том случае если будут приведены в насильственную связь друг с другом. Ибо истинное классическое образование есть нечто неслыханно трудное и редкое и требует столь сложных способностей, что только наивность и бесстыдство могут видеть в нем достижимую цель гимназии. Термин формальное образование принадлежит к грубой, нефилософской фразеологии, которой следует по возможности избегать, ибо не существует материального образования! А вот, кто выставляет целью гимназии научное образование, тем самым отказывается от классического образования и от так называемого формального образования, вообще от всей образовательной цели гимназий, так как человек науки и образованный человек принадлежит к двум различным сферам, которые время от времени соприкасаются в одном индивиде, но никогда не совпадают друг с другом.

Если мы сравним эти три мнимые цели гимназии с действительностью, наблюдаемой нами при преподавании немецкого языка, то узнаем, чем большей частью являются эти цели в обыденной жизни: выходами из затруднительного положения, придуманными для борьбы и войны и часто действительно довольно пригодными для одурачивания противника. Ибо мы не нашли в преподавании немецкого языка ничего, что каким-либо образом напоминало бы классически античный прообраз, античную грандиозность филологического воспитания. А формальное образование, достигаемое упомянутым преподаванием немецкого, оказалось безграничным потаканием свободной личности, т. е. варварством и анархией. Что же касается научного образования как следствия этого преподавания, то нашим германистам предоставляется решить, как мало содействовали расцвету их науки именно эти науки — образные гимназические начатки, как много — личность отдельных университетских преподавателей. В итоге, гимназии до сих пор не хватает наипервейшего и ближайшего объекта, которым начинается истинное образование, — родного языка; в силу этого она лишена естественной плодотворной почвы для всех дальнейших образовательных усилий. Ибо только на почве строгой, художественно тщательной выучки и привычки укрепляется правильное чувство понимания величия наших классиков, признание которых со стороны гимназии до сих пор покоилось лишь на сомнительном, эстетизирующем пристрастии отдельных учителей или же исключительно на воздействии фабул определенных трагедий и романов. Но надо по собственному опыту узнать, как трудно овладеть языком, надо после долгих поисков и борьбы пробиться на дорогу, по которой шли наши великие поэты, чтобы почувствовать как легко и красиво шествовали они по ней и как неуклюже или напыщенно двигаются за ними другие.

Лишь благодаря такой дисциплине в молодом человеке будет вызывать отвращение столь излюбленная и прославленная «элегантность» стиля наших газетных мастеровых и кропателей романов и "изысканный слог" наших литераторов, и он одним ударом разрешит целы й ряд весьма комичных вопросов и недоразумений, вроде того, поэты ли Ауэрбах и Гутцков? Их просто станет невозможным читать без отвращения, и тем вопрос будет исчерпан. Пусть не думают, что легко развить свое чувство до такого физического отвращения, но пусть никто не надеется прийти к эстетической критике иным путем, кроме тернистой тропы языка, и притом не с помощью филологических изысканий, а лишь с помощью филологического самовоспитания.

Здесь каждый серьезно трудящийся почувствует себя в положении взрослого человека, который, например, поступив в солдаты, вынужден учиться ходить, тогда как он прежде был в этом отношении простым дилетантом и эмпириком. Это — месяцы тяжелого труда; рождается опасение, как бы не вытянулись сухожилия, пропадает всякая надежда на то, что искусственно и сознательно заученные движения ног когда-либо будут производиться свободно и легко; со страхом замечаешь, как неумело и грубо передвигаешь ноги, и боишься, что разучился всякой ходьбе и никогда уже не научишься настоящей. И вдруг замечаешь, что искусственно заученные движения превратились в новую привычку и вторую натуру, и прежняя уверенность и сила шага возвращается

укрепленной и даже сопровождается известной грацией. Теперь только знаешь, как трудно ходить, и смело можешь насмехаться над грубым эмпириком или над элегантными жестами дилетанта в ходьбе. Наши писатели, именуемые элегантными, никогда, как свидетельствует их стиль, не учились ходить; и в наших гимназиях, как доказывают наши писатели, не учатся ходить. Но умение ходить в области языка есть начало, порождает по отношению к этим элегантным писателям физическое ощущение, называемое отвращением.

В этом познаются знаменательные последствия нашего теперешнего гимназического строя; и тем, что гимназия не в состоянии насадить истинное и строгое образование, которое прежде всего повиновение и навык, тем, что она в лучшем случае ставит себе целью лишь возбуждение и оплодотворение научных стремлений, объясняется столь часто встречаемый союз учености с варварством вкуса, науки с журналистикой. В нынешнее время можно сделать то широкое и общее наблюдение, что наши ученые упали и спустились с той высоты образования, которого достиг немецкий дух благодаря стараниям Гёте, Шиллера, Чессинга и Винкельмана. Это падение обнаруживается в том грубом непонимании, которое достигается на долю этих людей как со стороны историков литературы (зовутся ли они Гервинусом или Юлианом Шмидтом), так и в каждом обществе, почти в каждом разговоре между мужчинами и женщинами. Это падение сказывается сильнее и больше всего именно в педагогической литературе, относящейся к гимназии. Можно засвидетельствовать, что исключительное значение, этих людей для истинного образовательного заведения, значение их как первых руководителей и мистагогов классического образования, при помощи которых только и может быть найден правильный путь, ведущий к древности в продолжение полувека и более, не было даже высказано, не только что признано.

Всякое так называемое классическое образование имеет лишь одну здоровую и естественную исходную точку — художественно серьезный и строгий навык в обращении с родным языком; но до этого, как и до тайны формы, редко кто правильно доходит изнутри, собственными силами, большинство нуждается в великих вождях и учителях и должно довериться их руководству. Но не существует классического образования, которое могло бы вырасти без развившегося чувства формы. Здесь, при постепенном пробуждении чувства различения между формой и варварством, первый раз расправляются крылья, несутся к истинному и единственному отечеству образования — к греческой древности. Правда, при такой попытке приблизиться к бесконечно далекой и обнесенной алмазными стенами твердынь эллинизма мы недалеко улетим с помощью одних лишь этих крыльев; нам снова нужны те же наставники, наши немецкие классики, которые подхватят нас на крыльях своих античных стремлений и унесут в страну наших желаний — в Грецию.

За старозаветные стены гимназии не проникло ни одного звука об этой единственно возможной связи между нашими классиками и классическим образованием. Напротив, филологи неутомимо стараются собственными силами преподнести молодым душам своих Гомеров и Софоклов и без дальнейших сомнений и оговорок называют результат классическим образованием. Пусть каждый на собственном опыте вспомнит, что он получил от Гомера и Софокла под руководством таких ретивых наставников. Эта сфера самых важных и частых ошибок и ненамеренно распространяемых недоразумений. Я еще никогда не находил в немецкой гимназии ни малейшего следа того, что по истине можно было бы назвать классическим образованием. И это не удивительно, если вспомнить, что гимназия эмансипировалась от немецких классиков и немецкой дисциплинировки слога. Прыжком в пустоту нельзя достичь древности, а весь практикующийся в школах способ обращения с древними писателями, добросовестное комментирование и парафразировка наших учителей-филологов не что иное, как такой прыжок в пустоту.

Понимание классического и эллинского является столь редким результатом самой упорной образовательной борьбы и художественного таланта, что лишь благодаря грубому недоразумению гимназия осмеливается претендовать на роли пробудителя этого чувства. И в каком возрасте? В возрасте, который еще слепо поддается самым пестрым тенденциям дня, который еще не имеет ни малейшего представления о том, что понимание эллинизма, однажды пробужденное, сейчас же становится агрессивным и должно выразиться в непрестанной борьбе со всей мнимой культурой настоящего. Для современного гимназиста эллины, как таковые, мертвы; да, ему нравится Гомер, но все же роман Шпильгагена захватывает его все сильнее; да, он с известным удовольствием поглощает греческие трагедии и комедии, но все же настоящая современная драма вроде «Журналистов» Фрейтага затрагивает его совершенно иначе. Глядя на античных авторов, он ощущает склонность говорить словами художественного критика Германа Гримма, который однажды в вычурной статье о Венере Милосской спрашивал себя: "Что мне фигура этой богини? На что мне нужны мысли, которые она возбуждает во мне? Орест и Эдип, Ифигения и Антигона, что говорят они моему сердцу?" Нет, милые гимназисты, вам нет дела до Венеры Милосской: но так же мало до нее дела и вашим учителям, — и в этом несчастье, в этом тайна современной гимназии. Кто поведет вас в отчизну образования, если ваши руководители слепы и, сверх того, выдают себя за зрячих! Кто из вас достигнет истинного понимания священной важности искусства, когда вас избалуют методом, приучающим вас самостоятельно заикаться, вместо того чтобы научит вас говорить, самостоятельно эстетизировать, вместо того чтобы благоговейно подходить к художественному произведению, самостоятельно философствовать, вместо того чтобы принуждать вас слушать великих мыслителей. И все это имеет лишь тот результат, что вы останетесь навеки чуждыми древности и станете слугами настоящего дня.

То благотворное, что кроет в себе современная гимназия, заключается, главным образом, в серьезности, с которой она на протяжении целого ряда лет занимается латинским и греческим языками. Здесь еще учатся

уважению к языку с фиксированными правилами, к грамматике и словарю, здесь еще знают, что такое ошибка, и не испытывают каждую минуту затруднений от претензий, заявляемых грамматическими и орфографическими капризами и причудами, подобно тому как это встречается в немецком слоге современности. Если бы только это уважение к языку не оставалось висющим в воздухе и не рассматривалось бы как теоретическое бремя, которое снова тотчас же сбрасывают, когда имеют дело со своим родным языком! Обыкновенно сам учитель греческого или латыни мало церемонится с этим родным языком: он с самого начала рассматривает его как область, где можно отдохнуть от строгой дисциплины латыни и греческого, где опять позволительна беспечная распушенность, с которой немец привык относиться к всему родному. Переводы с одного языка на другой, эти прекрасные упражнения, самым целительным и плодотворным образом действующие на развитие художественного понимания собственного языка, никогда не проводятся с надлежащей безусловностью, строгостью и достоинством применительно к немецкому языку, что именно и необходимо прежде всего здесь, где мы имеем дело с недисциплинированным языком. Впрочем, в последнее время и эти упражнения все более исчезают: довольствуются знанием чужих классических языков и пренебрегают законченным умением владеть ими.

Здесь снова пробивается ученая тенденция в понимании задач гимназии — явление, которое бросает свет на гуманитарное образование, серьезно считавшееся прежде целью гимназии. В эпоху наших великих поэтов, т. е. немногих действительно образованных немцев, выдающийся Фридрих-Август Вольф приобщил и гимназию к новому классическому духу, идущему из Греции через посредство тех мужей. Его смелому почину удалось создать новую картину гимназии, которая отныне должна была стать не только рассадником науки, но прежде всего настоящим святилищем всякого высшего и более благородного образования.

Из внешних мероприятий, кажущихся необходимыми, некоторые весьма существенные с продолжительным успехом применялись, и при современном строе гимназии не удалось только как раз самое важное: не удалось освятить самих учителей этим новым духом, так что со временем цель гимназии снова значительно удалась от того гуманитарного образования, к которому стремился Вольф. Напротив, старая, абсолютная оценка учености и ученого образования, которую преодолел Вольф, снова после слабой борьбы заняла место проникшего было нового образовательного принципа и отстаивает теперь, хотя и не с прежней откровенностью, а с закрытым лицом, свое исключительное полноправие. И неудача попытки ввести гимназию в широкое русло классической образованности заключалась в не-немецком, почти чужеземном или космополитическом характере этих образовательных усилий, в уверенности, что возможно из-под ног вырвать родную почву и все же прочно стоять на ногах, в иллюзорном убеждении, будто мы в состоянии прямо, безо всякого моста, перепрыгнуть в отдаленный эллинский мир путем отрицания немецкого и вообще национального духа.

Правда, нужно уметь сперва разыскать этот немецкий дух в его потайных убежищах. Под модными облачениями или под обломками, надо его так любить, чтобы не стыдиться его искаленного вида; следует прежде всего остерегаться и не смешивать его с тем, что теперь гордо зовут немецкой культурой современности. Последний этот дух скорее внутренне враждебен; или как раз в сферах, на недостаточность культуры которых эта современность обыкновенно жалуется, часто сохраняется, хотя и в лишенной прелести форме под грубой внешностью, именно этот настоящий немецкий дух. То же, что теперь с особым самохвальством называет себя немецкой культурой, представляет космополитический агрегат, относящийся к немецкому духу, как журналист к Шиллеру, как Мейербер к Бетховену. Здесь оказывает сильнейшее влияние негерманская в глубочайшей основе цивилизация французов, которой подражает бездарно, с переменным вкусом, и в этом подражании придают ложные формы немецкому обществу, прессе, искусству и стилистике.

Правда, эта копия никогда не достигнет такого художественно-замкнутого воздействия, которое производится оригинальной, выросшей из сущности романского духа цивилизацией Франции сплошь до наших дней. Чтобы почувствовать это противоречие, сравним наших известнейших немецких романистов с любым, даже менее известным французским или итальянским писателем: с обеих сторон те же самые сомнительные тенденции и цели, те же самые еще более сомнительные тенденции и цели, те же самые еще более сомнительные средства; но там они соединены с художественной серьезностью, по крайней мере с корректностью слога, часто красивы и являются всегда отзвуком соответствующей общественной культуры, здесь же все не оригинально, расплывчато, халатно по мысли и выражению или неприятно разряжено, кроме того, совершенно лишено фона действительной общественной жизни, причем в крайнем случае лишь ученые замашки и сведения напоминают, что в Германии журналистом становится неудавшийся ученый, а в романских странах художественно образованный человек с этой якобы немецкой, в сущности же неоригинальной, культурой; немец нигде не может рассчитывать на победу; в ней он терпит посрамление со стороны француза и итальянца, а что касается ловкого подражания чуждой культуре, прежде всего со стороны русского.

Тем крепче следует держаться немецкого духа, который открыл себя в немецкой реформации и немецкой музыке и доказал свою прочную, далеко не призрачную силу в неслыханной отважности и строгости немецкой философии и в недавно испытанной верности немецкого солдата; от него же должны мы ожидать победы над модной псевдокультурой времени. Вовлечь в эту борьбу настоящую образовательную школу и вдохновить, особенно в гимназии, подрастающее новое поколение на все истинно немецкое — вот та будущая деятельность школы, на которую мы возлагаем свои надежды. В этой школе, наконец, и так называемое классическое

образование обретет свою естественную почву и свою единственную исходную точку.

Истинное обновление и очищение гимназии вытечет только из глубокого и мощного обновления и очищения немецкого духа. Таинственна и трудно уловима связь, которая существует между глубиной немецкой сущностью и греческим гением. Но прежде чем благороднейшая потребность чисто немецкого духа не схватится за руку этого греческого гения как за твердую опору потоки варварства, пока в немецком духе не пробудится всепоглощающее стремление к греческому миру, пока с трудом достижимая даль греческой отчизны, которая услаждала Гете и Шиллера, не сделается местом паломничества лучших и одареннейших людей, до тех пор классическая образовательная цель гимназии будет неустойчиво развиваться во все стороны по воле ветра. И нельзя будет по крайней мере порицать тех, которые желают насадить в гимназии хотя бы ограниченную научность и ученость, чтобы все же иметь перед глазами действительную прочную, все же идеальную цель и спасти своих учеников от соблазнов того лживого призрака, который теперь называет культурой и образованием. Такого печальное положение современной гимназии. Самые ограниченные точки зрения до известной степени правоспособны, ибо никто не в состоянии достичь или по крайней мере обозначать место, где бы все они этого права лишились".

"Никто!" — спросил ученик философа с некоторым волнением в голосе, и ода умолкли.

Лекция третья

(читанная 27 февраля 1872 г.)

Милостивые государе! Разговор, который мне некогда пришлось услышать и основные черты которого я по памяти старался воспроизвести перед вами, был прерван долгой паузой на том пункте, которым я последний раз закончил свой пересказ. Философ и его спутник сидели погруженные в грустное молчание. На душе у обоих тяжелым бременем лежала странная, только что служившая предметом их разговора ненормальность важнейшего образовательного учреждения — гимназии, — для устранения некоторой отдельной правильно мыслящий человек казался слишком слабым, а масса недостаточно мыслящей.

Два обстоятельства особенно удручали наших одиноких мыслителей: во-первых, они ясно сознавали следующее: то, что с полным правом можно было бы назвать "классическим образованием", в настоящее время лишь летающий в воздухе идеал образования, совершенно не способный вырасти на почве нашей воспитательной системы, и, напротив, то, что теперь обозначают ходячим и неоспоренным эвфемизмом "классического образования", обладает лишь значением претенциозной иллюзии, наилучший смысл которой, пожалуй, в том, что благодаря ей само слово "классическое образование", еще продолжает жить и по-прежнему звучат патетически. На преподавании немецкого языка эти честные люди выяснили себе, что до сих пор не найдено правильная исходная точка для высшего образования, воздвигнутого на столпах древности. Одичалость же приемов преподавания языков, вторжение ученых исторических направлений на место практической выучки и приобретение навыка, сочетание известных, требуемых в гимназиях упражнений сомнительных духом нашей журналистики — все эти явления, наблюдаемые в преподавании немецкого языка, вызывают печальную уверенность, что благотворнейшее влияние классической древности совершенно не известно нашей гимназии, — то величие классицизма, которое подготавливает к борьбе с варварством современности и которое, быть может, со временем еще превратит гимназию в арсеналы и мастерские этой борьбы.

Между тем сейчас совершается обратное: кажется, будто уже дух древности усердно отгоняется от самого порога гимназии и будто здесь хотят как можно шире растворить двери нашей избалованной лестью, мнимой современной "немецкой культуре". И если для наших одиноких собеседников существовала еще надежда, то она заключалась в ожидании еще худших времен, когда то, что до сих пор угадывалось лишь немногими, станет до очевидности ясно многим и когда в серьезной области народного воспитания уже будет недалеко пора честных и решительных людей.

После нескольких минут молчаливого раздумья спутник обратился к философу и сказал: "Вы желали пробудить во мне надежды, учитель, но вы укрепили мое понимание и тем самым мою силу и мое мужество. Теперь я действительно смотрю смелее на поле сражения и даже почти осуждаю свое преждевременное бегство. Мы ведь ничего не желаем для самих себя, и нас не должно печалить, если многие погибнут в этой борьбе и мы сами падем в числе первых. Именно потому что мы смотрим серьезно на дело, мы не будем серьезно относиться к каждой из наших личностей в тот момент, когда мы падем, несомненно найдется кто-нибудь другой, кто подхватит знамя, в эмблему которого мы веруем. Я не хочу задумываться даже над тем, достаточно ли у меня силы для такой борьбы и как долго я буду в состоянии сопротивляться. И разве не почетная смерть — пасть под насмешливый хохот таких врагов, серьезность которых так часто казалась нам смешной: "Когда я подумаю о том, как мои сверстники готовились к одинаковому со мной призванию, к высокому призванию учителя, то я вижу, что часто мы смеялись над противоположным и становились серьезными перед самыми различными вещами".

"Мой друг, — прервал его со смехом философ, — ты говоришь как человек, который хочет прыгнуть в воду, не умея плавать, и боится не столько пойти ко дну, сколько именно не утонуть и быть высмеянным. Но меньше

всего мы должны бояться осмеяния; ибо перед нами область, где еще много невысказанных истин, так много ужасных, горьких, непростительных истин, что не может быть недостатка в самой искренней ненависти к нам, и лишь ярость порой будет скрываться под неловкой улыбкой. Представь себе только необозримые толпы учителей, которые с наивной уверенностью освоили существующую до сих пор воспитательную систему, чтобы простосердечно и без лишних мудрствований насаждать ее дальше. Как, думаешь ты, почувствуют они себя, когда услышат о планах, из которых они исключены и притом *boneficio naturae*; о требованиях, которые залетают далеко за пределы их средней одаренности; о надеждах, которые остаются без отклика в них; о сражениях боевой клич которых им непонятен и в которых они играют только роль глухо сопротивляющейся инертной массы? А таково будет, без преувеличения, необходимое положение большинства учителей в средних учебных заведениях.

Впрочем тот, кто взвесит, как в большинстве случаев создается такой тип учителя, каким образом он становится преподавателем высшего образования, тот даже и не удивится такому положению. Теперь почти всюду существует такое преувеличенное количество средних учебных заведений, что для них постоянно требуется гораздо больше учителей, чем в состоянии породить природа даже богато одаренного народа. Таким образом, в эти заведения попадает излишек непризванных, которые постепенно, благодаря численному перевесу и инстинкту *similis simili gaudet*, определяют дух этих заведений. Пусть остаются безнадежно далекими от педагогических вопросов все, полагающие, будто возможно при помощи каких-нибудь законов и предписаний превратить видимое изобилие наших гимназий и учителей в настоящее изобилие, в *ubertas ingenui*, не уменьшая их числа. Мы должны быть солидарны с тем взглядом, что лишь чрезвычайно редкие люди предназначены от природы к истинной педагогической дороге и что для их успешного развития достаточно гораздо меньшего числа средних учебных заведений; современные же учебные заведения, рассчитанные на широкие массы содействуют всего менее развитию именно тех, ради которых вообще имеет смысл учреждать что-либо подобное.

То же самое справедливо и относительно учителей. Как раз лучше — те, которые, применяя крупный масштаб, вообще достойны этого высокого имени, — теперь, при современном состоянии гимназии, пожалуй, меньше всего пригодны для воспитания этой неподбранной, случайно сведенной вместе молодежи, принуждены сохранять в тайне то лучшее, что могли бы ей дать. А громадное большинство учителей чувствует себя полноправным в этих заведениях, ибо их способности находятся в известном гармоническом соответствии с низким духовным полетом и умственной скудностью их учеников. Из среды этого большинства раздается призыв к основанию все новых гимназий и средних учебных заведений. Мы живем в эпоху, когда, благодаря этому непрерывному оглушительному призыву, кажется, будто действительно существует громадная жаждащая утоления потребность в образовании. Но именно надо здесь правильно слушать, именно здесь, не смущаясь звонким эффектом слов, надо смотреть в лицо тем, кто так неустанно твердит об образовательных потребностях своего времени. Тогда придется пережить странное разочарование; то самое, которое мы с тобой, мой добрый друг, так часто переживали. Громкие глашатаи потребности в образовании внезапно при более внимательном рассмотрении вблизи превращаются в ревностных, даже фанатичных противников истинного образования, т. е. такого, которое связано с аристократической природой духа. Ибо, в сущности, они считают своею целью эмансипацию масс от господства великих единичных личностей, в сущности, они стремятся ниспровергнуть священный порядок в царстве интеллекта: служебную роль массы, ее верноподданническое послушание, ее инстинкт верности скипетру гения.

Я давно приучился относиться осторожно ко всем тем, кто усердно ратует за так называемое народное образование, как оно обыкновенно понимается. Ибо большей частью, сознательно или бессознательно, они желают для себя, при общих сатурналиях варварства, безудержной свободы, которой им никогда не предоставит священная иерархия природы. Они рождены для служения, для повиновения, и каждое мгновение деятельности их пресмыкающихся, ходульных или слабокрылых мыслей подтверждает, из какой глины их вылепила природа и какое фабричное клеймо выжгла она на этой глине. Следовательно, нашей целью будет не образование массы, а образование отдельных избранных людей, вооруженных для великих и непреходящих дел.

Ведь мы теперь знаем, что справедливое потомство будет судить об общем образовательном уровне народа лишь по великим одиноко шествующим героям эпохи и произнесет свой приговор в зависимости от того, в какой мере их признавали, поощряли и чтили или же выделяли, оскорбляли и истребляли. Прямым путем, т. е. повсеместным принудительным элементарным обучением, удастся лишь чисто внешним и приблизительным образом добиться того, что называют народным образованием; настоящие же более глубокие области, где широкая масса соприкасается с образованием, те области, где народ питает свои религиозные инстинкты, где он продолжает творить свои мифические образы, где он сохраняет верность своим обычаям, своему праву, своей родной почве, своему языку, — все они едва ли достижимы прямым путем, и во всяком случае это будет путь разрушительного насилия; а потому содействовать народному образованию в таких серьезных вещах — значить лишь отражать эти разрушительные акты насилия и поддерживать спасительную бессознательность, тот оздоравливающий сон народа, без противовеса и целительного действия которого невозможна никакая культура, с истощающим напряжением и возбуждением его проявлений.

Но мы знаем, чего домогаются те, кто желает прервать этот целительный сон народа, кто постоянно кричит ему:

"Проснись, будь сознательным, будь умным!" Мы знаем, куда метят те, кто путем чрезмерного умножения образовательных заведений, путем вызванного таким образом к жизни высоко мнящего о себе сословия учителей якобы желает удовлетворить могучую потребность в образовании. Именно эти господа и как раз этими средствами борются против естественной иерархии в царстве интеллекта, разрушая корни высочайших и благороднейших образовательных сил, вырастающих из бессознательного состояния народа, материнское назначение которых заключается в порождении гения и затем в правильном его воспитании и уходе за ним. Лишь по сходству с матерью поймем мы значение и обязанности, которые истинная образованность народа имеет по отношению к гению. Само возникновение гения не в ней, он имеет лишь, так сказать, метафизическое происхождение, метафизическую родину. Но его конкретное появление, его внезапное появление из самой глубины народа, возможность сделаться отраженным образом насыщенным красочной игрой всех своеобразных сил этого народа, и обнаружить высшее назначение нации в полуаллегорической сущности индивида и в вечном творении, связуя таким образом свой народ с вечностью и освобождая его от изменчивой сферы минутного, — все это под силу гению лишь тогда, когда он созрел и выкормился на материнском лоне образованности народа. Без этой же укрывающей и согревающей его родины он не развернет крыльев для своего вечного полета, но, заблаговременно подобно чужестранцу, затерявшегося в холодной пустыне, печально удалится из негостеприимной страны".

"Учитель, — заметил тогда спутник, — вы повергаете тогда меня в недоумение этой метафизикой гения, и лишь издали чувствую я справедливость ваших уподоблений. Зато я вполне понимаю ваши слова об избытке гимназий и вызванном таким образом перепроизводстве учителей средних учебных заведений. Именно на этой почве я имел опыт, убедивший меня, что образовательная тенденция гимназии должна принаровляться к громадному большинству учителей, которые, в сущности, не имеют ничего общего с образованием и лишь в силу упомянутой ненормальности попадали на этот путь и дошли до таких притязаний. Тот, кто в счастливую минуту просветления убедился в своеобразности и недостижимости эллинского мира и упорной борьбой, защищал против себя самого это убеждение, знает, что доступ к такому прозрению всегда открыт лишь для немногих, и будет считать нелепым и унижительным, когда кто-нибудь с профессиональными целями и в расчете на заработок станет обращаться с греческими классиками как с обыкновенным орудием ремесла и бестрепетно ошупывать руками ремесленника эти священные предметы. Но именно в том лагере, откуда вербуются большая часть гимназических учителей — в лагере филологов весьма обычное такое грубое и непочтительное обращение. Поэтому наблюдаемое в гимназии распространение и дальнейшая передача такого отношения не должны нас удивлять.

Присмотримся только к молодому поколению филологов. Как редко, подметим мы, в них то стыдливое чувство, в силу которого кажется, что по сравнению с миром эллинов мы даже не имеем никаких прав на существование! Как равнодушно и дерзко, напротив, вьют эти юные птенцы свои жалкие гнезда внутри грандиознейших храмов! К большинству тех, кто еще со времени своих университетских годов самодовольно и бестрепетно разгуливает среди изумительных развалин древнего мира, должен бы вызывать из каждого угла властный голос: "Прочь отсюда, вы, непосвященные, вы, никогда не добьющиеся посвящения; бегите молча из этого святилища, бегите молча и со стыдом!" Увы, этот голос вызывает напрасно: ибо надо обладать хоть каплей эллинского духа, чтобы понять греческую формулу заклания и изгнания. Но они до такой степени варвары, что сообразно своим привычкам с комфортом располагаются среди этих развалин. Они приносят с собой туда все современные привередства и страстишки и отлично прячут их под античными колоннами и надгробными памятниками, причем поднимают большое ликование каждый раз, когда в античной обстановке найдут то, что сами же предварительно хитро запрятали туда.

Один пишет стихи и умеет рыться в словаре Гесихия: тотчас же он убеждается, что призван быть переводчиком Эсхила и находить верующих, которые утверждают, что он конгениален Эсхилу, он, этот жалкий рифмоплет! Другой подозрительный оком полицейского выслеживает все противоречия, даже тени противоречий, в которых провинился Гомер; он тратит свою жизнь на разрывание и сшивание гомеровских лоскутов, которые он сам же сперва выкрал из его великолепного одеяния. Третьему не по вкусу мистерии и оргиастические стороны древности; он раз и навсегда решает допускать признания лишь разъяренного Аполлона и видеть в афинянина только веселого, рассудительного, хотя несколько безнравственного почитателя Аполлона. С каким облегчением он вздыхает каждый раз, когда ему удастся возвести какой-нибудь темный уголок древности на высоту собственного просвещения, когда он, например, открывает в старике Пифагоре доблестного собрата по просветительной политике! Четвертый мучится над разрешением вопроса, почему судьба обрекла Эдипа на столь ужасные поступки, как убийство отца и женитьба на родной матери. Где же тут вина? Где поэтическая справедливость?

Внезапно ему все становится понятно: ведь Эдип был собственно страстный малый, не сдерживаемый христианской кротостью; однажды он даже совсем непристойно разгорячился — когда Тирезий назвал его извергом и проклятием всей страны. "Будьте кротки, — вот чему, вероятно, хотел учить Софокл, — иначе вы женитесь на своей матери и убьете своего отца!" Еще другие всю жизнь занимаются подсчетом стихов греческих и римских поэтов и радуются пропорции — $7:13 = 14:26$. Наконец, кто-то обещает даже разрешение такого вопроса, как гомеровский, с точки зрения предлогов, и думает с их помощью извлечь истину на свет божий. Но все они, при всем различии тенденций, копаются и роются в эллинской почве с такой неутомимостью и

неуклюжей неловкостью, что серьезному другу древности должно буквально сделаться страшно. Поэтому у меня является желание взять за руку всякого способного или не способного человека, обнаруживающего известную профессиональную склонность к классицизму, и произнести перед ним следующую тираду: "Знаешь ли ты, какие опасности угрожают тебе, молодой человек, отправленный в путь лишь с умеренным запасом школьного знания? Слышал ли ты, что, по словам Аристотеля, быть убитым падающей статуей — значить погибнуть не трагической смертью! А именно такая смерть угрожает тебе. Это тебя удивляет? Так знай же, что филологи в течении столетий пытаются вновь установить упавшую и ушедшую в землю статую греческой древности, но до сих пор их силы оказывались недостаточными; ибо это колосс; по которому отдельные людишки карабкаются точно карлики. В дело пущены громадные соединенные усилия и рычаги современной культуры; но едва ее приподымут от земли, как она снова падает назад, давя людей в своем падении. С этим еще можно было бы примириться, ибо каждое живое существо должно от чего-нибудь погибнуть. Но кто может поручиться, что при этих попытках сама статуя не разобьется на куски? Филологи гибнут от греческих классиков — это еще можно перенести, но ведь сам классический мир разбивается на куски по вине филологов! Пораздумай над этим, легкомысленный молодой человек, и обратись вспять, если ты не хочешь быть иконоборцем".

"И в самом деле, — сказал со смехом философ, — значительное число филологов обратились теперь вспять, как ты того требуешь. Я наблюдаю большую перемену сравнительно с положением дел во время моей юности. Большое количество их, сознательно или бессознательно, приходит к убеждению, что прямое соприкосновение с классической древностью для них и бесполезно, и безнадежно. От того-то изучение классиков у большинства самих филологов слывет бесплодным и отжившим. С тем большей охотой накинута эта стая на языковедов. Здесь, на бесконечных пространствах свежезрытой пашни, где в настоящее время может с пользой применяться даже самое умеренное дарование и где известная трезвость рассматривается как положительный талант, при новизне и неустойчивости методов и постоянной опасности фантастических заблуждений — здесь, где работа сомкнутым строем является наиболее желательной, — здесь приближающего новичка не ошеломляет тот изгоняющий голос божества, который звучал ему из развалин древнего мира. Здесь еще каждого встречают с распростертыми объятиями, и даже тот, кого Софокл и Аристофан никогда не наводили на значительную мысль и ли незаурядное чувство, может с успехом стоять за этимологическим станком или заниматься собиранием затерявшихся диалектических пережитков — и так среди связывания и развязывания, собирания и рассеивания, беготни взад и вперед и заглядывания в различные книги будет незаметно проходить его день. Но вот от этого приносящего столь большую пользу языковеду требуется, прежде всего, чтобы был он учителем! И именно ему, сообразно своим обязанностям, надлежит преподавать для блага гимназической молодежи нечто о древних авторах, относительно которых у него самого никогда не было самостоятельных впечатлений и еще менее понимания. Какое затруднительное положение! Древний мир ему ничего не говорит, следовательно, и ему нечего сказать о древнем мире. Внезапно у него становится светло и легко на душе: ведь не даром же он языковед! Не даром те авторы писали по-латыни и по-гречески! И вот он тотчас весело приступает к этимологизированию Гомера, привлекая на помощь литовский или церковно-славянский язык, а прежде всего священный санскрит, как будто бы школьные уроки греческого языка являются только предлогом для всеобщего введения в языкознание и как будто бы Гомер повинен лишь в одном принципиальном недостатке — в том, что не написан на древнем индоевропейском наречии. Кто знаком с современными гимназиями, знает, как чужды их учителя классической тенденции и как именно из сознания этого недостатка вытекает преобладание у подобных ученых занятий сравнительным языкознанием".

Я же думаю, — сказал спутник, — важно именно то, чтобы преподаватель классической образованности не смешивал своих греков и римлян с другими варварскими народами и чтобы греческий и латинские языки никогда не могли бы для него стать на одну линию с другими языками. Как раз для его классической тенденции безразлично, совпадает ли скелет этих языков со скелетами других и родствен ли он им. Для него суть дела не в совпадениях. Именно не общее, именно то, что возносит эти народы как не-варварские высоко над всеми остальными, должно притягивать его истинные симпатии, поскольку он является преподавателем настоящей образованности и имеет желание преобразовать самого себя согласно возвышенному прообразу классического мира".

"Быть может, я ошибаюсь, — сказал философ, — но у меня возникает подозрение, что при том методе, по которому теперь в гимназии обучают латыни и греческому, утрачивается именно умение владеть языком, непринужденное, обнаруживающееся в разговоре и письме господство над ним; нечто, характеризовавшее мое, правда, теперь уже сильно устаревшее и поредевшее поколение. Теперешние же учителя, кажется мне, до такой степени вдаются со своими учениками в генетическое и историческое рассмотрение, что в конце концов в лучшем случае из них выходят маленькие санскритоведы, производители этимологических фейерверков или конъектуральные дебоширы. Но ни один из них не в состоянии, подобно нам, старикам, с удовольствием читать своего Платона или Тацита. Поэтому, быть может, гимназии и теперь еще служат рассадниками учености, но это не та ученость, которая является естественным, непреднамеренным результатом образования, направленного к благороднейшим целям; ее скорее можно сравнить с гипертрофической опухолью нездорового тела. И гимназии — рассадники этой ученой жирной немочи — зачастую даже вырождаются в атлетические школы того элегантного варварства, которое теперь чванливо зовет себя современной немецкой культурой".

"Но где же, — спросил спутник, — будут искать себе убежища те несчастные массы учителей, которых природа не наделила способностью к истинному образованию и которые лишь в силу известной ненормальности, в силу того, что избыток школ требует избытка учителей, и для прокормления самих себя дошли до притязания изображать из себя преподавателей образованности? Куда деваться им, если древний мир властно отвергает их? Разве не должны они пасть жертвой тех сил современности, которые изо дня в день вызывают к ним неустанно из всех органов прессы: "Мы — культура! Мы — образование! Мы — стоим на высоте! Мы — вершина пирамиды! Мы — цель мировой истории!" — когда они слышали соблазнительные обещания, когда перед ними в газетах и журналах восхваляют именно позорнейшие знамена некультурности, плебейскую публичность так называемых культурных интересов, выставляя их как фундамент совершенно новой и в высшей степени зрелой формой образования. Где же остается искать убежища этим несчастным, если в них живо еще хотя бы слабое подозрение лживости упомянутых обещаний, — где же, как не в самой тупой, микрологически бесплодной научности, чтобы по крайней мере здесь более не слышать неустанного вопля образованности? Разве не вынуждены они, преследуемые таким образом, подобно страусу спрятать свою голову в кучу песка? И не истинное ли для них счастье, эта возможность вести муравьиную жизнь, зарывшись в диалектах, этимологиях и лингвистических комментариях, хотя бы и на многомиллионном расстоянии от истинного образования, но зато по крайней мере с заткнутыми ушами, не доступными и глухими голосу элегантной культуры времени?.

"Ты прав, друг мой, — сказал философ, — но где же та железная необходимость, в силу которой неизбежен излишек образовательных школ, а значит и излишек учителей? Ведь мы же ясно сознаем, что требование такого излишка раздается из сферы, враждебной образованию, и что результаты его благоприятствуют только необразованности. В действительности же речь о такой железной необходимости может идти лишь постольку, поскольку современное государство привыкло подавать свой голос в этих делах, сопровождая свои требования бряцанием бранных доспехов. Последнее явление, правда, производит на большинство людей такое же впечатление, как если бы им вещала вечная железная необходимость первичный закон всех вещей. Но все же выступающие с такими требованиями культурное государство, как его теперь называют, есть нечто иное и стало вещью самопонятной лишь за последние полвека, то есть в эпоху, которой по собственному излюбленному выражению, кажется самопонятным чересчур многое, что само по себе еще отнюдь не понятно само собой. Как раз наиболее могущественное современное государство, Пруссия, так серьезно отнеслось к этому праву верховного руководства в деле образования и школы, что, принимая во внимание отвагу, свойственную этому государственному правопорядку, усвоенный им сомнительный принцип получает общее угрожающее, а для истинного немецкого духа положительно опасное значение. Ибо с этой стороны мы находим формально систематизированное стремление поднять гимназию до так называемого уровня времени. Здесь процветают все те мероприятия, при помощи которых, возможно, большее число учеников прищипывается и становится пригодным к гимназическому воспитанию; здесь государство даже с таким успехом применило свое наимогущественнейшее средство — дарование известных льгот по военной службе, что, по нелицеприятному свидетельству государственных чиновников, это и только это объясняет общее переполнение всех прусских гимназий и настоятельную непрекращающуюся потребность в открытии новых. Что же более может сделать государство для поощрения такого избытка образовательных заведений, как ни привести в необходимую связь с гимназией все высшее и большую часть низших чиновничьих должностей, а также и право посещения университета и даже самые значительные военные льготы; и это в стране, где всецело одобряемая народом всеобщая воинская повинность на ряду с самым неограниченным политическим честолюбием чиновников бессознательно влекут на эти пути все одаренные натуры. Здесь на гимназию смотрят как на известную ступень к почестям; и все, что только обуревается влечением к административным сферам, оказывается на дороге гимназии. Новое и несомненно оригинальное явление в том, что государство берет на себя роль мистагога культуры и, заботясь о достижении своих целей, принуждает каждого из своих слуг появляться перед собой только с факелом всеобщего санкционированного государством образования, причем в неверном мерцании этих факелов гражданин должен снова узнавать само государство как высшую цель, как награду за все свои образовательные труды.

Последнее явление, правда, должно было привести в недоумение; оно должно было напомнить родственную, постепенно разгаданную тенденцию философии, которая в свое время поощрялась государством и имела ввиду цели государства — тенденцию гегелевской философии. Пожалуй, не было бы даже преувеличением утверждать, что в деле подчинения всех образовательных стремлений государственным целям Пруссии с успехом воспользовалась практически применимым наследием гегелевской философии; ее апофеоз государства достиг своей высшей точки именно в этом подчинении".

"Но, — спросил спутник, — какие же намерения может преследовать государство такой странной тенденцией? А что оно их преследует, вытекает уже из того, что прусские школьные условия вызывают восхищение других государств, серьезно взвешиваются ими и кое-где находят подражателей. Эти другие государства, очевидно, предполагают здесь нечто, в такой же мере способствующее прочности и силе государства, как и прославленная и ставшая вполне популярной всеобщая воинская повинность. Там, где каждый периодически с гордостью носит солдатский мундир, где почти каждый, благодаря гимназии, воспринял обезличивающую, как мундир, государственную культуру, там энтузиасты готовы говорить чуть ли не об античных временах, о достигнутом

только однажды, в древнем мире, всемогуществе государства, которую почти каждый юноша, в силу инстинкта и воспитания, приучился считать рассветом и величайшей целью человеческого воспитания".

"Положим, — сказал философ, — такое сравнение преувеличено и хромает на обе ноги. Античный государственный строй оставался слишком далеким именно утилитарным соображениям, чтобы признавать значение образования лишь постольку, поскольку оно непосредственно приносило ему пользу, или подавлять стремления, которые не поддаются тотчас же использованию в его видах. Глубокомысленный грек именно потому питал к государству почти поражающее современного человека чувство восхищения и благодарности, что сознавал, как немисливо развитие самоналейшего зародыша культуры помимо такого попечительного и охранительного установления; поэтому вся его неподражаемая и единственная во все времена культура разрослась так пышно благодаря заботливости и мудрому прикрытию попечительных и охранительных учреждений государства. Государство было для его культуры не пограничным стражем, но регулятором или надсмотрщиком, но крепким, мускулистым, вооруженным для борьбы товарищем и попутчиком, который провожал своего достойного преклонения, более благородного и как бы сверхземного друга, охраняя его от суровой действительности и получая за это благодарность. Если же теперь современное государство претендует на подобную восторженную благодарность, то это, разумеется, не потому, что оно сознает за собой рыцарские отношения к высшему образованию и искусству. Ибо с этой стороны его прошедшее так же позорно, как и его настоящее. Чтобы убедиться, следует только подумать о том, как читается память наших великих поэтов и художников в германских столицах и насколько высочайшие художественные замыслы этих немецких художников поддерживаются со стороны государства.

Таким образом, должны существовать особые причины как для той государственной тенденции, которая всевозможными путями поощряет то, что называют образованием, так и для поощряемой таким образом культуры, подчиняющейся вышесказанной государственной тенденции, с истинно немецким духом и с образованием, которое бы вело от него свое начало и которое я тебе, друг мой, обрисовал беглыми чертами, эта государственная тенденция находится в открытой или тайной вражде. Поэтому тот дух образования, который благоприятен государственной тенденции и к которому она относится с живым сочувствием, заставляющим другие страны восхищаться ее постановкой школьного дела, должен происходить из сферы, не соприкасающейся с тем чисто немецким духом, который столь чудесно говорит нам из внутреннего ядра немецкой реформации, немецкой музыки, немецкой философии и на который, как на благородного изгнанника, так равнодушно, так оскорбительно взирает это роскошно произрастающее под санкцией государства образование. Истинно немецкий дух — это чуждый пришелец: одиноко и печально он проходит мимо, а там раскачивают кадилыницы перед той псевдокультурой, которая, под вопли «образованных» учителей и газетных писак, присвоила себе его имя, его почести и ведет постыдную игру со словом «немецкий». Для чего нужен государству этот переизбыток образовательных учреждений и учителей? К чему это основанное на широких началах народное образование и народное просвещение? Потому что ненавидят чисто немецкий дух, потому что боятся чисто аристократической природы истинного образования, потому что хотят довести до самоизгнания крупные единичные личности, насаждая и питая в массе образовательные претензии, потому что пытаются избежать строгой и суровой дисциплины великих вождей, внушая массе, что она сама найдет дорогу с помощью путеводной звезды государства!

Новый феномен! Государство в роли путеводной звезды образования! Однако меня утешает одно: этот немецкий дух, с которым так борются, которые подменен пестро разукрашенным заместителем, — этот дух храбр. Сражаясь, он пробьется вперед когда-нибудь в более светлую эпоху; благородный, каков он есть, и победоносный, каким он будет, он сохранит некоторое чувство сожаления по отношению к государству, которое, будучи доведено до крайности, в минуту нужды ухватилось за псевдокультуру как за союзницу. Ибо, в конце концов, кто может оценить трудность задачи управлять людьми, т. е. поддерживать закон, порядок, спокойствие и мир среди многих миллионов, в большинстве случаев беспредельно эгоистических, несправедливых, нечестных, завистливых, злобных и притом ограниченных и упрямых людей, и в то же время постоянно отстаивать от жадных соседей и коварных разбойников то небольшое, что прибрело себе государство? Такое угрожаемое государство хватается за всякого союзника. А если к тому же последний сам предлагает себя в напыщенных тирадах, называет его, государство, как, например, Гегель, абсолютно совершенным этическим организмом и ставит задачу образования каждого человека — отыскать место и положение, на котором он мог бы с наибольшей пользой служить государству, то что же удивительного, что государство без дальнейших околичностей бросается на шею к такому напрашивающемуся союзнику и в свою очередь с полным убеждением начинает восклицать своим густым басом варвара: "Да! Ты — образование! Ты — культура!"

Лекция четвертая

(читанная 5 марта 1872 г.)

Уважаемые слушатели! После того как вы до сих пор неизменно следили за моим рассказом и мы сообща преодолели уединенный, местами оскорбительный диалог — между философом и его спутником, я могу питать

надежду, что вы теперь, как выносливые пловцы, готовы перевозмочь и вторую половину плавания, тем более что могу вам обещать появление новых марионеток на маленькой сцене кукольного театра моих переживаний; поэтому я полагаю, что если вы выдержали все предыдущее, то волны рассказа теперь быстрее и легче донесут вас до конца. Мы скоро доберемся до поворотного пункта, и будет целесообразно еще раз в коротком ретроспективном взгляде запечатлеть все то, что мы, по-видимому, извлекли из часто менявшегося разговора наших филологов.

"Оставайся на своем посту, — зывал философ к своему спутнику, — так как ты имеешь право надеяться. Ведь все яснее обнаруживается отсутствие у нас образовательных учреждений и необходимость их иметь. Наши гимназии, предназначенные по своему плану для этой цели, сделались либо питомниками сомнительной культуры, с глубокой ненавистью отталкивающей от себя истинное, т. е. аристократическое, опирающееся на мудрый подбор умов образования, либо выращивает микрологическую, сухую во всех отношениях, чуждую образованию ученость, достоинство которой, быть может, и состоит именно в том, что она по крайней мере притупляет восприимчивость зора и слуха к искушениям упомянутой сомнительной культуры". Философ прежде всего обратил внимание своего спутника на странное вырождение, которое должно было наступать в самом ядре культуры для того, чтобы государство могло считать себя господином, чтобы оно с ее помощью могло преследовать свои государственные цели и в союзе с ней бороться против чужих, враждебных сил, так же как и против духа, который философ отважился назвать "истинно немецким". Этот дух, прикованный в силу благороднейшей потребности к грекам, сохранившийся мужественным и выносливым в течении всего тяжелого прошлого, чистый и возвышенный по своим целям, способный, благодаря своему искусству, к верховной задаче, к освобождению современного человека от проклятия современности, — этот дух осужден жить вдаль, оставаясь лишенным своего наследия. Но когда его протяжные жалобы раздаются в пустыне современности, тогда они пугают ее многолюдный и пестрый образовательный караван. Не изумление, а испуг должен был охватить, гласило мнение философа, не боязливо убежать, а нападать советовал он. Особенно убеждал он своего спутника не относиться к ней слишком бережно и расчетливо к той личности, которая, благодаря высшему инстинкту, явится носительницей антипатии к современному варварству. "Пусть она погибнет; пифийский бог без затруднения найдет новый треножник и новую пифию, лишь бы мифические пары еще продолжали подыматься из глубины".

И снова философ возвысил свой голос: "Заметьте же хорошенько, друзья, — сказал он, — что вы не должны смешивать двух вещей. Очень многому должен научиться человек, чтобы жить, чтобы вести свою борьбу за существование; но все, что он, как индивид, изучает и предпринимает с этой целью, не имеет еще ничего общего с образованием. Последнее, напротив, начинается только в воздушной сфере, которая простирается высоко над миром нужды, борьбы за существование и разных жизненных потребностей. Спрашивается только, как высоко оценивается человек собственный субъект наряду с другими субъектами, как много сил он тратит на ту индивидуальную жизненную борьбу. Многие могут путем стоического ограничения своих потребностей скоро и легко подняться до тех сфер, где они будут в состоянии забыть себя и сбросить свой субъект, чтобы в солнечной системе безвременных и безличных интересов наслаждаться вечной юностью. Другие же так растягивают в ширину влияние и потребности своего субъекта и строят в таком грандиозном размере мавзолей своего «я», как будто они таким путем приобретут возможность одолеть в единоборстве своего исполинского противника — «время». И в таком стремлении обнаруживается жажда бессмертия; богатство и власть, мудрость, присутствие духа, красноречие, цветущая слава, веское имя — все здесь становится лишь средством для ненасытной личной воли к жизни, требующей новой жизни, алчущей вечности, в конце концов лишь призрачной.

Но даже и в этой высочайшей форме субъекта, и в наиболее интенсивной потребности такого расширенного и как бы коллективного индивида еще нет соприкосновения с истинным образованием. И если, например, с этой стороны раздается требование искусства, то при этом принимаются в соображение лишь его развлекающие и возбуждающие элементы, т. е. те, которое чистое и возвышенное искусство всего менее способно вызвать, но которые лучше всего вызываются искусством обесчещенным и загрязненным. Ибо в совокупности своих поступков и стремлений, пусть даже высокой в глазах постороннего наблюдателя, такой человек никогда не сможет избавиться от своего алчного и беспокойного субъекта. От него ускользает лучезарная эфирная высь созерцания, свободного от всего субъективного, и поэтому он, сколько бы не учился, ни путешествовал, ни коллекционировал, обречен жить изгнанником, навеки удаленным от пределов истинного образования. Ибо последнее презирает могущую ее загрязнить связь с обуреваемым желаниями и потребностями индивидом. Оно благоразумно ускользает от того, который хотел бы упрочить его за собой как средство для эгоистических намерений. И когда кому-нибудь чудится, что он крепко держит его, так что может обратить в средство для заработка и утолить свои жизненные нужды путем его эксплуатации, оно внезапно с гримасой презрения неслышными шагами убегает прочь.

Итак, друзья мои, не смешивайте этого образования, этой легконогой, прихотливой эфирной богини с той полезной служанкой, которая по временам так же зовет себя образованием, но на деле только интеллектуальная прислужница и советчица в делах житейской нужды, добывания средств утоления потребностей. А всякое воспитание, которое ставит конечной целью своего поприща должность или хлебный заработок, но есть воспитание, направленное к образованию, как мы его понимаем, но лишь обучение, указывающее, каким путем

можно спасти и охранить свой субъект в борьбе за существование. Конечно, такое обучение для большинства людей является вопросом первой и ближайшей важности; и чем труднее борьба, тем усерднее надо учиться молодому человеку, тем напряженнее должен он использовать свои силы.

Пусть, однако, никто не думает, что заведения, прищипывающие и вооружающие человека для этой борьбы, могут в сколько-нибудь серьезном смысле рассматриваться как образовательные учреждения. Эти лишь учреждения, вооружающие человека для одоления житейских нужд, все равно, обещают ли они воспитать чиновников или купцов, офицеров, оптовщиков, сельских хозяев, врачей или техников. Для таких учреждений, однако, необходимы во всяком случае иные законы и масштабы, чем для создания образовательного заведения; и что здесь позволительно и даже всячески предписывается, может явиться там преступной несправедливостью.

Приведу вам, друзья мои, пример. Если вы хотите вести молодого человека по правильному образовательному пути, то остерегайтесь нарушать его наивное, доверчивое, личное и непосредственное отношение к природе, пусть и лес, и скалы, и буря, и коршун, каждый отдельный цветок и мотылек, и лужайка, и горный склон разговаривают с ним на своем языке: в них, как в перечисленных разбросанных отблесках и отражениях, в пестром потоке сменяющихся явлений, пусть узнает он себя. Таким образом он бессознательно ощутит метафизическое единство всех вещей на великом примере природы и в то же время обретет успокоение перед лицом его вечного постоянства и необходимости. Но многим ли молодым людям дозволено вырасти в столь близких, почти личных отношениях к природе. Большинству приходится рано познать истину — как подчинить себе природу. Тогда приходит конец прежней наивной метафизике: физиология растений и животных, геология, неорганическая химия вырабатывает в своих учениках иной измененный взгляд на природу. То, что утрачивается из-за этой новой навязанной точки зрения, не просто поэтическая фантазматическая, но инстинктивное, истинное, единственное понимание природы; на его место заступают теперь благоразумные расчеты и желание пережить природу. Таким образом, истинно образованному человеку предоставлено неоценимое благо — безо всякой ломкости остаться верным созерцательным инстинктам своего детства и тем самым достичь спокойствия, единства, общей связи и гармонии, т. е. всего того, чего даже не может подозревать тот, кто взращен для житейской борьбы.

Но не думайте все же, друзья, что я хочу умолить достоинство наших реальных училищ и высших городских школ; я чту места, где учат основательно считать, где усваивают разговорные языки, серьезно относятся к географии вооружаются изумительными сведениями естествознания. Я готов так же охотно допустить, что юноши, получившие образование в наших лучших реальных школах, имеют полное право на все притязания, заявляемые окончившими гимназистами, и, очевидно, недалеко уже время когда людям с такой подготовкой так же неограниченно откроют двери университетов и доступ к государственным должностям, как это до сих пор делали лишь по отношению к питомцам гимназии — заметьте, к питомцам современной гимназии. Но я не могу в заключение удержаться от следующего горестного добавления: если верно, что реальная школа и гимназии в общем так единодушны по своим настоящим целям и, уклоняясь друг от друга лишь в тонкостях, могут рассчитывать на полное равноправие перед форумом государства, то, значит, у окончательно отсутствует одна разновидность воспитательных учреждений — разновидность образовательного учреждения! Это менее всего упрек по адресу реальных училищ, которые до сих пор столь же успешно, как и честно, преследовали более низменные, но в высшей степени необходимые тенденции. Но гораздо менее честно и гораздо менее успешно ведется дело в гимназии; ибо здесь живо еще какое-то инстинктивное чувство стыда, неосознанного признания, что учреждение его в целом позорно деградировало и что звучным образовательным лозунгом мудрых учителей-апологетов противоречит варварски пустынная и бесплодная действительность. Итак, образовательных учреждений не существует! А там, где еще пытаются подделаться под них, царит еще большая безнадежность, захудалость и недовольство, чем у очагов так называемого реализма! Заметьте к стати, друзья мои, как грубы и неосведомлены должны быть учительские круги, которые могли в такой степени перетолковать строго философские термины реальный и реализм, чтобы почуять под ними противоположность между материей и духом и истолковать реализм как направление по назначению к действительности и господству над ней.

Я, со своей стороны, знаю лишь одну истинную противоположность — образовательные учреждения и учреждения, вызванные житейскими нуждами; ко второму роду относятся все существующие, о первом же говорю, я. Прошло, быть может, часа два, пока философа беседовали о столь необычных вещах. Ночь наступила, и если уже в сумерках голос философа звучал как музыка природы в этом лесном уголке, то теперь, в полном мраке ночи, каждый раз, когда он заговаривал возбужденно и страстно, звуки рассыпались раскатистым громом, с треском и шипением, отскакивая от бегущих вниз стволов и утесов. Внезапно он замолк; он только что почти жалобно повторил: "У нас нет образовательных заведений, у нас их нет", — как что-то, быть может еловая шишка, упало прямо перед ним, и его собака с громким лаем бросилась вперед. Прерванный таким образом философ поднял голову и почувствовал разом ночь, прохладу и уединенность. "Что мы, однако делаем! — сказал он своему спутнику. — Ведь уже совсем стемнело. Ты знаешь, кого мы здесь ожидаем, но он, верно, уже не придет. Напрасно здесь мы просидели так долго. Пойдем!"

Теперь, уважаемые слушатели, мне следует познакомить вас с ощущениями, с какими мой друг и я следили из нашего потайного уголка за отчетливо доносящимся разговором, к которому мы к тому же жадно прислушивались. Я ведь сказал вам, что мы намеривались праздновать дорогое нам воспоминание на этом месте

и в этот час. Это воспоминание касалось не более и не менее как вопросов воспитания и образования, т. е. области, где мы, в своей юношеской уверенности, полагали, что за предыдущее время успели собрать обильную и удачную жатву. Таким образом, мы особенно желали с благодарностью помянуть тот союз, который мы некогда задумали, сидя здесь, и цель которого, как я уже раньше сообщал, была взаимно поощрять друг друга и наблюдать за пробуждением образовательных наклонностей и небольшого кружка товарищей. Внезапно же на все прошлое упал совершенно неожиданный свет, когда мы, молчаливо прислушиваясь, отделились во власть сильных речей философа. Мы очутились в положении людей, которые, неосторожно двигаясь вперед, внезапно замечают, что занесли ногу над пропастью; мы почувствовали, что вместо того, чтобы удалиться, приближались к величайшим опасностям. Здесь, в этом памятном для нас месте, услышали мы предостерегающий крик: "Назад! Ни шагу далее! Знаете ли вы, куда несут вас ноги, куда манит эта обманчивая дорога?"

Казалось, что мы теперь это знали, и чувство льющей через край благодарности неудержимо толкало нас к строгому стражу и "верному Эккарту", так что мы оба вскочили разом, чтобы обнять философа. Последний уже поднялся, чтобы уходить. Когда мы неожиданно и шумно подскочили к нему, а собака с резким лаем кинулась нам навстречу, то он и его спутник должны были прежде всего подумать о разбойническом нападении, а не о восторженных объятиях. Очевидно, он забыл о нас; одним словом, он пустился бежать. Когда мы его догнали, наша попытка обнять его потерпела полную неудачу. В эту минуту мой друг закричал, так как собака укусила его, а спутник философа с такой яростью набросился на меня, что мы оба упали. Между собакой и человеком завязалась тем временем жуткая свалка, продолжавшаяся несколько минут, пока моему другу не удалось, пародируя слова философа, громко прокричать: "Именем всех культур и псевдокультур! Чего хочет от нас глупая собака! Проклятый пес, прочь отсюда, ты, непосвященный и никогда не добьющийся посвящения, прочь от нас и наших внутренностей, удались вспять молча и пристыженно". После этого воззвания сцена несколько прояснилась, насколько это допускала полная темнота, царившая в лесу. "Это они! — вскричал философ. — Наши стрелки! Как вы нас напугали! Что заставило вас так наброситься на меня в эту ночную пору?"

Радость, благодарность, уважение руководило нами, — сказали мы, пожимая руку старца, тогда как собака продолжала в лае изливать свои новые чаяния. — Мы не хотели дать вам уйти, не сказав вам этого. А для того, чтобы вам все объяснить, мы просим вас еще повременить; нам хочется расспросить вас о многом, что как раз у нас теперь на сердце. Повремените же немного: нам знаком каждый шаг по дороге, мы потом проводим вас вниз. Быть может придет и поджидаемый вами гость. Взгляните только вниз на Рейн. Что такое плывет там, точно окружение светом многих факелов? Там должен быть ваш друг, и нам даже чудится, что он подымется сюда к вам со всеми этими факелами".

Так осаждали мы своего удивленного старца своими просьбами, обещаниями, фантастическими выдумками, пока, наконец, и спутник не стал уговаривать философа еще немного погулять взад и вперед здесь, на вершине горы, на теплом воздухе ночи, стряхнув с себя "познаний чад", как он добавил.

"Стыдитесь, — возразил на это философ. — Когда вы начинаете цитировать, то неужели вы можете брать цитаты только из Фауста! Но все же я вам уступлю, с цитатой и без нее, если только наши юноши выдержат и не бросятся бежать с такой же поспешностью, с какой они явились; ведь они похожи на блуждающие огни: не успеешь удивиться их появлению, как приходится удивляться их исчезновению".

Тогда мой друг тотчас же продекламировал:

Почтения узду приняв,
Мы изменим свой легкий нрав:
Зигзаги — наш обычный бег.

Философ в недоумении остановился. "Вы поражаете меня, господа блуждающие огоньки, — сказал он. — Ведь здесь же не болото. На что вам это место? Что значит для вас общество философа? Здесь воздух резок и ясен, почва тверда и суха. Вам следует поискать более фантастическую область для ваших зигзагообразных наклонностей".

"Если я не ошибаюсь, — вмешался спутник, — эти господа сказали нам, что известное обещание связывает их на этот час с данным местом. Но мне кажется, что они, в качестве хора, прослушали нашу комедию об образовании и вели себя при этом как истинные идеальные зрители, ибо совершенно не мешали нам и мы считали, что находимся наедине друг с другом".

"Да, — молвил философ, — это правда; в этой похвале я не могу отказать вам, но мне кажется, что вы заслуживаете и большей".

В эту минуту я схватил философа за руку и сказал: "Надо быть тупоголовым пресмыкающимся и ползать по земле брюхом, уткнувшись головой в грязь, чтобы выслушивать речи, подобные вашим, не задумываясь серьезно над ними, не возбудиться и не разгорячиться. Быть может, кто-либо и почувствовал бы при этом гнев, под давлением досады и самообвинения; на нас же это произвело иное впечатление, и я только затрудняюсь его описать. Именно этот час был как нарочно выбран для нас, наше настроение оказалось вполне подготовленным, мы сидели как открытые сосуды! Теперь кажется, что мы до краев наполнены новой мудростью, и я совершенно растерялся. Так что если кто-нибудь сейчас спросит меня, что я хочу делать завтра и что я отныне собираюсь

делать, то я не сумею ничего ответить. Ибо, очевидно, мы до сих пор совершенно иначе жили, получали совершенно иное воспитание, чем следовало, но что нам сделать, чтобы перешагнуть пропасть, отделяющую сегодня от завтра?"

"Да, — подтвердил мой друг, — то же самое чувствую и я, тот же вопрос задаю и я. Кроме того, мне кажется, что столь возвышенные и идеальные взгляды на задачи немецкого образования отпугивают меня и делают недостойным трудиться над его созиданием. Я вижу, как блестящее шествие самых богатых натур движется к этой цели, и предчувствую, через какие пропасти, мимо каких соблазнов оно идет. Кто будет настолько смел, чтобы присоединиться к нему.

Тут и спутник также обратился к философу со словами: "Не прогневайтесь, если и я сознаюсь, что ощущаю нечто подобное, в чем и каюсь сейчас перед вами. В разговоре с вами мне часто кажется, что я подымаюсь над самим собой и согреваюсь до самозабвения около вашего мужества и ваших надежд. Но вслед за тем приходит более хладнокровная минута, резкий ветер действительности приводит меня в сознание, и я вижу, как широка пропасть, которая разверзается между нами и через которую вы перенесли меня как бы во сне. То, что вы называете образованием, болтается тогда вокруг меня и тяжестью ложится на мою грудь: это панцирь, который пригнетает меня, меч, которым я не в силах размахнуться".

Внезапно мы трое оказались единодушными перед философом и, медленно прохаживаясь взад и вперед по беслесной полянке, служившей нам днем местом стрельбы, среди полнейшего безмолвия ночи, под мирно распростертым звездным небом, ободряя и подзадоривая друг друга, высказали ему совместными усилиями приблизительно следующее:

"Вы так много говорили о гении, о его одиноком многотрудном странствии по свету, как будто бы природа всегда порождает только крайние контрасты — тупую, сонную, размножающуюся лишь в силу инстинктов массу и затем, безграничным отдалении от нее великие, созерцательные, способные к созиданию вечных творений, единичные личности. Их вы называете вершиной интеллектуальной пирамиды; но ведь, очевидно, необходимы бесчисленные промежуточные ступени от широкого, тяжело нагруженного фундамента до свободно вздымающейся вершины, и здесь-то именно приложимо изречение: *"natura non facit saltus"*. Где же начинается, то что вы называете образованием, на какой ступени область низов граничит с областью верхов? И если можно говорить об истинной образовании только применительно к этим далеким личностям, то как можно основывать учреждение в расчете на их непредвиденное существование, как можно обдумывать систему образования, пригодную для одних лишь этих избранных? Нам, напротив, кажется, что они-то сумеют найти дорогу и обнаружат свои силы в умении ходить без тех образовательных костылей, которые необходимы другим. Они беспрепятственно проложат себе путь через сутолоку и суматоху мировой истории, подобно призраку пробирающемуся сквозь тесное и многолюдное собрание.

Нечто подобное высказали мы, хотя и не особенно складно и связно, а спутник философов пошел даже дальше, заметив учителю: "Подумайте же сами о всех великих гениях, которыми мы привыкли гордиться как испытанными и верными вождями и руководителями истинно немецкого духа; мы чтили их память празднествами и статуями, с удовлетворением выставляли их творения на показ иностранцам. Где нашли они то образование, которого вы требуете, в какой мере они были вскормлены, и до какой степени созрели на родном солнце образования? И все же их появление оказалось возможным, все же они сделали теми, кого мы теперь так чтим. Их творения оправдывать, быть может, именно форму развития принятую этими благородными натурами, оправдывают даже недостаток образования, который мы должны допустить у их времени, у их народа. Что мог Лессинг, что мог Винкельман подчеркнуть из наличного тогда немецкого образования? Ничего или. По крайней мере, также мало, как Бетховен, Шиллер, Гете, как все наши великие художники и поэты. Быть может, закон природы хочет, чтобы всегда лишь позднейшие поколения сознавали, какими небесными дарами были отмечены предыдущие".

Здесь старец-философ пришел в сильный гнев и закричал на своего спутника: "О, агнец простоты! О вы все, достойные на звание млекопитающих! Что за кривые, неуклюжие, узкие, шероховатые, уродливые аргументы! Да, сейчас именно я слышал голос образования наших дней, и у меня болит в ушах от сплошных исторических самопонятностей и сплошных старчески рассудительных беспощадных исторических умствований. Внимай же, о неоскверненная природа: ты состарилась и в течение тысячелетий покоиться над тобой это звездное небо, но таких образованных и, в сущности, злобных речей, какие по вкусу этой современности, ты еще никогда не слышала. Итак, мои добрые германцы, вы гордитесь вашими художниками и поэтами? Вы показываете на них пальцем и кичитесь ими перед иностранцами? А так как вам не стоило никакого труда иметь их в своей среде, то вы выводите отсюда премилую теорию, гласящую, что и впредь вам незачем стараться ради них. Не правда ли, мои наивные детки, гении являются сами собой; их приносит вам аист. Стоит ли говорить о повивальных бабках. Ну, милейшие, вы заслуживаете серьезного урока. Как вы смеете гордиться тем, что все вышеназванные блестящие и благородные умы прежде временно задушены, истощены и угашены нами и вашим варварством! Как вы смеете без стыда вспоминать о Лессинге, который погиб из-за вашего тупоумия, в борьбе с вашими смешными Клотцами и Гетцами, под гнетом несовершенств вашего театра, ваших ученых, ваших теологов, не будучи в состоянии хотя бы раз отважиться на тот вечный полет, ради которого он пришел в мир? О что чувствуете вы при мысли о Винкельмане, который, чтобы не видеть ваших несуразных нелепостей, ушел

выпрашивать, как нищий, помощи у иезуитов позорное отступничество которого падает на вас и будет лежать на вас несмываемым пятном? Вы смеете поминать имя Шиллера не краснея! Посмотрите же на его портрет! Эти воспаленно горящие глаза презрительно смотрящие поверх вас этот румянец смерти на лице они ничего вам не говорят? Здесь у вас была такая дивная, божественная игрушка, и она разбилась из-за вас. И если вы отнимите дружбу Гете у этой меланхолически торопливой, затравленной насмерть натуры — тогда вы были бы виноваты в ее еще более быстром разрушении. Вы не помогли ни одному из наших великих гениев, а теперь вы хотите возвести в догмат, чтобы и впредь им не оказывалось никакой помощи! Для каждого из них вы до сих пор были сопротивлением косного мира, которое Гете называет по имени в своем эпилоге к «Колоколу», для каждого вы были костными тупицами, бессердечными завистниками или злобными себялюбцами. Вопреки вам создали они свои творения, против вас направляли они свои нападки и благодаря вам умерли слишком рано, не закончив своей дневной работы, разбитые и оглушенные борьбой. Кто может себе представить чего суждено было достичь этим героическим людям, если бы истинно немецкий дух распростер над ними свой охранительный кров в виде мощного учреждения — тот дух, который при отсутствии такого учреждения влачит свои дни разрозненным, раздробленным и выродившимся? Все эти гении загублены; им нужна сумасшедшая вера в разумность всего совершающегося, чтобы оправдать ею вашу вину. И не одни эти гении! Из всех областей интеллектуальной незаурядности выступают обвинители против вас. Бросаю ли я взгляд на все дарования в области поэзии и философа, или живописи, или пластики или только на первоклассные таланты, всюду нахожу я нечто недозревшее, чрезмерно возбужденное или рано заснувшее, спаленное до расцвета или замерзшее, всюду чую я сопротивление косного мира, т. е. вашу вину. Вот что обозначает мое требование образовательных заведений и мое сожаление о положении тех, которые себя таковыми именуют. Тому, кому угодно называть это идеальным требованием и вообще идеальным, полагая этим как похвалой, как отделаться от меня тому да послужит ответом мое мнение, что существующее положение вещей попросту пошло и позорно и что тот, кто в трескучий мороз требует тепла, должен прийти в ярость, если это его требование назовут идеальным. Здесь дело идет о навязчивой, настоятельной действительности минуты; кто ее ощущает, тот знает, что это такая же настоятельная нужда, как и холод и голод. Кто же ее не ощущает — ну, у того по крайней мере имеется масштаб для определения того, где кончается то, что я называю образованием, и на какой высоте пирамиды область низов ограничивается от области верхов".

Философ, по-видимому, очень разгорячился. Мы предложили ему снова немного пройтись, так как последние слова он произнес, стоя вблизи того пня, который служил нам мишенью для стрельбы. Некоторое время мы все молчали и медленно и задумчиво шагали взад и вперед. Мы чувствовали не столько стыд за приведенные нами нелепые аргументы, сколько, напротив, некоторую реабилитацию нашей личности; именно после возбужденных и нелестных для нас обращений философа мы почувствовали себя более близкими ему и стоящими на более личной почве. Ибо человек такое жалкое существо, что он быстрее всего сближается с посторонним, когда тот обнаруживает перед ним какую-нибудь слабость или недостаток; тот факт, что наш философ разгорячился и позволил себе употребить бранные слова, перебрал мост через испытываемое до тех пор робкое благоговение. Для того, кто найдет подобное наблюдение возмутительным, следует прибавить, что этот мост часто приводит от отдаленного почитания к личной любви и состраданию. И это сострадание постепенно все сильнее овладело нами вслед за чувством реабилитации нашей личности. К чему водили мы этого старика ночью по лесу и горам? И раз он в этом нам уступил, почему мы не нашли более спокойной и приличной формы для выражения нашего желания поучиться, почему мы, все трое, так неделикатно высказали наше несогласие?

Ибо теперь мы успели заметить, как необдуманны, не подготовлены и наивны были наши возражения, как сильно именно в них звучало эхо той современности, голоса которой старик не хотел слышать в области образования. К тому же наши возражения не возникли чисто из интеллекта; причина, пробужденная словами философа и толкнувшая нас к сопротивлению, казалось, лежала в другом месте. Быть может, в нас говорило инстинктивное опасение насчет того, достаточно ли обеспечены именно наши личности при таких воззрениях, какие развивал философ, быть может, наши прежние представления о собственном образовании, почуяв опасность, соединились вместе, чтобы во чтобы то ни стало найти причины, говорящие против точки зрения, которая во всяком случае в корне отвергла наши мнимые притязания на образованность. Но не следует оспаривать противников, которые переносят на личную почву вескость аргументами; или, как гласила мораль в нашем случае, такие противники не должны спорить, не должны противоречить.

Так шли мы рядом с философом пристыженные, мучимые сожалением, недовольные самими собой и более чем когда-либо убежденные что старец прав, мы же были несправедливы к нему. Как далеко позади остались юношеские мечтания о нашем образовательном заведении, как ясно сознавали мы опасность, от которой до сих пор ускользали благодаря случаю, — опасность целиком продаться той образовательной системе, которая с детских лет, еще с гимназической скамьи, соблазнительно манила нас! Почему же мы, однако, еще не состояли в общественном хоре ее почитателей? Быть может, только потому, что еще были настоящими студентами, что могли пока спастись от алчной погони и давки, от безудержно бушующего прилива общности, на этот остров, который ведь так же скоро будет смыт.

Обуреваемые подобными мыслями, мы уже намеривались заговорить с философом, когда он внезапно обернулся к нам и сказал смягчившимся голосом: "Мне не следует удивляться вашему юношески

неосторожному и опрометчивому поведению. Ибо едва вы когда-либо серьезно размышляли над тем, что услышали от меня. Дайте пройти известному времени, носите это с собой, думайте над этим день и ночь, ведь теперь вы стоите на распутье, теперь вы знаете, куда ведут обе дороги. Идя по одной, вы будете желанны своим времени, и оно не поскупится увенчать вас венками и победными трофеями; вас будут нести огромные партии, сзади вас будет идти столько же единомышленников, сколько и спереди. И когда предводитель выкликнет лозунг, то он откликнется эхом во всех рядах. Здесь первая обязанность — бороться сомкнутыми рядами; вторая — уничтожать всех тех, кто не желает выстраиваться в сомкнутые ряды. Вторая дорога сведет вас с более редкими попутчиками, она труднее, извилистее и круче. Над вами будут глумиться идущие по первому пути, так как вы шествуете с усилием, и они будут пытаться переманить вас к себе. Когда же случайно оба пути сойдутся, то с вами обойдутся жестоко, вас оттеснят в сторону или боязливо отшатнутся от вас и оставят одинокими.

Что же обозначало собой образовательное учреждение для столь различных путников двух дорог? Та необозримая толпа, которая стремится к своим целям по первому пути, подразумевает под ним институт, при помощи которого она выстраивается в сомкнутые шеренги и который отделяет и выключает всех, кто ставит себе более возвышенные и отдаленные цели. Правда, они умеют пускать в ход пышные слова для обозначения своих тенденций: они говорят, например, о "всестороннем развитии свободной личности в пределах прочных, стойких общенациональных и гуманно-этических воззрений" или вызывают свою целью "основание национального государства, покоящегося на разуме, образовании и справедливости".

Для другой, меньшей группы образовательное заведение представляется чем-то совершенно иным. Она хочет, под защитой прочной организации, оградить себя от опасности быть поглощенной и раздробленной первой группой, хочет уберечь отдельных своих членов, чтобы те не обессилили раньше времени, не сбились с пути, не измельчали, не рассеялись и не потеряли бы таким образом из виду свою благородную и возвышенную задачу. Доставить возможность этим отдельным единицам совершить свое дело до конца — таков смысл их совместной организации; причем это дело должно быть очищено от всяких следов субъективного и стоять выше переменчивой игры времени как чистое отражение вечной и неизменной сущности вещей. И все участники этой организации должны приложить совместные старания, чтобы путем такого очищения от всего субъективного подготовить рождение гения и создания его творения. Многие даже из числа второстепенных и третьестепенных дарований предназначены для такого содействия и лишь путем служения такой истинно образовательной организации доходят до сознания выполненной обязанности. Теперь же именно эти дарования совращаются со своего пути непрерывными ухищрениями и соблазнами модной культуры и становятся чуждыми своему инстинкту.

К их эгоистическим побуждениям, к их слабостям и тщеславию обращается искушение, именно им дух времени нашепывает: "Следуйте за мной! Там вы слуги, помощники, вспомогательные орудия, вас затмевают блеском природы высшего порядка, вы никогда не наслаждаетесь своей самобытностью, вас тянут за нитку, вы в цепях как рыбы, как автоматы. Здесь, у меня, вы как господа наслаждаетесь вашей свободной личностью, ваши способности могут блистать сами за себя, с ними и вы сами будете стоять на первом месте, вас будет сопровождать громадная скита, и одобрение общественного мнения вам будет приятно, чем похвала, высокомерно оброненная с высоты гения". Даже наилучшие поддаются теперь искушению таких соблазнов. И, в сущности, податливость или неподатливость таким голосам вряд ли обуславливается здесь степенью одаренности, а скорее уровнем и степенью известной нравственной высоты, инстинктом героизма, самопожертвования и, наконец, стойкой, обратившейся в привычку и руководимой правильным воспитанием потребностью в образовании, чем, как я уже сказал, является, прежде всего, повиновение гению. Но как раз о такой дисциплине, о таком приучении почти не имеют понятия учреждения, которые теперь называют образовательными. Хотя для меня не подлежит сомнению, что первоначально гимназия была задумана как истинно образовательное учреждение такого рода или по крайней мере как подготовительная ступень к нему и что в удивительную, обуреваемую глубокими идеями эпоху реформации были действительно сделаны первые шаги по этому пути. Мне ясно и то, что во время нашего Шиллера, нашего Гете снова обнаружились следы той позорно отведенной в сторону или скрываемой потребности, как бы зачатки тех крыльев, о которых говорит Платон в «Федре» и которые вырастают у души при каждом соприкосновении с прекрасным и уносят ее ввысь, к царству неизменных чистых прообразов всех вещей".

"Ах, уважаемый и чудный учитель, — начал тогда спутник, — после того как вы упомянули о божественном Платоне и о мире идей, я больше не верю, что вы на меня сердитесь, хотя своей предыдущей речью я вполне заслужил ваше неодобрение и гнев. Как только вы начинаете говорить, я чувствую у себя эти платоновские крылья; и лишь в промежуточных паузах мне, как вознице моей души, приходится напрягать силы для обуздания моего сопротивляющегося, дикого, необъезженного коня, которого Платон также описал и о котором он говорит, что он кривобок и не отесан, с негнувшейся выей, короткой шеей, плоском носе, что он вороной масти, с серыми налитыми кровью глазами, косматыми ушами, туговат на ухо, всегда готов на преступление и низость, так что удастся едва-едва править им при помощи бича и остроконечного шеста. Подумайте о том, как долго я жил вдали от вас и что именно на мне могли быть испробованы все те ухищрения, обольщения, о которых вы говорили, быть может, и не без известного успеха, хотя и незаметно для меня самого. Теперь я понимаю яснее,

чем когда-либо, как необходима организация, которая давала бы нам возможность жить вместе с истинно образованными людьми, чтобы иметь в них руководителей и путеводные светочи. Как живо ощущаю я опасность одинокого странствия! И если я мнил, как я вам сказал, спастись от сутолоки бегством и уклониться таким образом от прямого соприкосновения с духом времени, то и само это бегство было обманчиво. Бесперерывно, из бесчисленных артерий, с каждым глотком воздуха, вливается в нас эта атмосфера, и никакое уединение недостаточно и далеко, чтобы она не могла настичь нас своими туманами и облаками. Под видом сомнения, наживы, надежды и добродетели в разнообразных маскарадных одеяниях прокрадываются к нам образы этой культуры; и даже здесь, вблизи вас, т. е. рука об руку с настоящим отшельником образования, этот призрак сумел нас обольстить. Как неизменно и верно должна эта маленькая группа стоять в своей среде на страже образования, которое можно назвать почти сектантским! Как должна она взаимно подкреплять друг друга! Как строго следует порицать здесь ложный шаг, с каким состраданьем прощать! Простите же и меня, учитель, после того как вы так строго наставили меня на истинный путь".

"Ты говоришь, дорогой мой, языком, которого я не переносу, — сказал философ, — и который напоминает стиль религиозных братств. С этим я не имею ничего общего. Но твой платоновский конь мне понравился, ради него тебе будет даровано прощение. На этого коня я обмениваю свое млекопитающее. А за тем у меня мало охоты дольше прогуливаться на свежем воздухе. Поджидаемый мною друг, правда, достаточно сумасброден, чтобы и в полночь прийти сюда, раз это он обещал, но я напрасно жду условленного знака. Не понимаю, что его задержало до сих пор, так как он аккуратен и точен, как все мы, старики, что слишком старомодно для современной молодежи. На этот раз он подвел меня; досадно! Пойдемте же за мной! Пора уходить". Но в это мгновение показалось нечто новое.

Лекция пятая

(читаная 23 марта 1872 г.)

Уважаемые слушатели! Если вы с некоторым сочувствием отнеслись к моему пересказу полных разнообразных аффектов речей нашего философа, раздававшихся в ночной тиши, то вы не менее нас должны быть его последним досадным решением. Он неожиданно заявил нам, что хочет уйти. Обманутый своим другом и мало утешенный тем, чем и его спутник оказались в состоянии скрасить его одиночество, он, по-видимому, спешил положить конец бесполезно затянувшегося пребывания в горах. День казался ему потерянным; и, страшивая его с себя, он, очевидно, охотно сбросил бы вместе с ним и воспоминание о нашем знакомстве. Итак, он досадливо торопил нас уходить, как вдруг новое событие заставило его остановиться, и уже поднятая нога нерешительно опустилась.

Наше внимание привлекла разноцветная вспышка огня и раскатистый, быстро смолкнувший гул со стороны Рейна. Сейчас же вслед за этим издали к нам донеслась медленная мелодия, подхваченная, хотя и в унисон, многочисленными юношескими голосами. "Да ведь это его сигнал! — вскричал философ. — Мой друг идет, я не напрасно дожидался его. Это будет полуночное свидание. Но как ему дать знать, что я еще здесь? Ну-ка, вы, стрелки, покажите свое искусство! Слышите строгий ритм приветствующей нас мелодии? Запомните же его и постарайтесь повторить в последовательном ряде ваших выстрелов!"

Эта задача была нам по вкусу и способностям. Мы зарядили поскорее наши пистолеты и, быстро сговорившись, подняли их в звездную высь, между тем, как внизу, после краткого повторения, мелодия постепенно замолкла. Первый, второй, третий выстрелы резко прозвучали в тишине ночи. Вслед за этим философ крикнул: "Вы сбились с такта", — так как мы неожиданно нарушили ритм, привлеченные падающей звездой, которая стрелой пронеслась вниз после третьего выстрела, и наш четвертый и пятый выстрелы невольно прозвучали в направлении ее падения.

"Вы сбились с такта, — закричал философ, — кто просит вас целиться в падающие звезды! Она разорвется и сама, без вас. Надо знать, чего хочешь, когда держишь оружие в руках".

В это мгновение с Рейна снова понеслась мелодия, подхваченная многочисленными и громкими голосами. "Нас все-таки поняли, — закричал, рассмеявшись, мой друг, — а кто может устоять, когда такой блистающий призрак приближается на расстояние выстрела". "Тише, — прервал его спутник, — откуда подает нам сигнал эта толпа? Я слышу от двадцати до сорока сильных мужских голосов; откуда же приветствует нас этот хор? Кажется, он еще не покинул той стороны Рейна — однако это мы лучше разглядим с нашей скамейки. Пойдемте же скорее туда!"

С того места, где мы до сих пор прогуливались взад и вперед, поблизости громадного пня, вид на Рейн был закрыт густым, темным и высоким лесом. С нашего же места отдыха, как я уже сказал, лежавшего несколько ниже на склоне горы, чем эта плоская полянка, открывался между вершинами деревьев полукруглый просвет, середину которого занимал Рейн, державший в объятиях остров Нонненверт. Поспешно, но все же сообразуясь с силами нашего пожилого философа, подбежали мы к этому месту. В лесу стоял полный мрак, и, поддерживая справа и слева философа, мы, почти ничего не видя, больше по догадке, пробирались по проложенной дороге. Едва достигли мы скамеек, как нам сразу бросился в глаза пылающий, тусклый и беспокойный свет,

находящийся, очевидно по ту сторону Рейна. "Это факелы, — вскричал я, — вернее всего, что там мои товарищи из Бонна и что ваш друг среди них. Это они пели, они и провожают его. Смотрите! Слушайте! Теперь они садятся в лодки; через полчаса с небольшим факельное шествие будет здесь".

Философ отпрянул назад. "Что вы говорите! — вскричал он. — Ваши товарищи из Бонна — стало быть студенты, и со студентами придет мой друг?"

Этот почти с злобой брошенный вопрос взволновал нас, "Что имеете вы против студентов?" — спросили мы, но не получили ответа. Только спустя некоторое время философ заговорил медленно и жалобно, как бы обращаясь к еще далекому другу: "Итак, даже в полночь, друг мой, даже на уединенной горе мы не будем одни, и ты сам ведешь ко мне целую толпу буйных студентов, хотя знаешь, как охотно и тщательно избегаю я встреч с этим *genus omne*. Я не понимаю тебя, мой далекий друг. Ведь не пустяки же наша встреча после долгой разлуки, и недаром выбрали мы такой уединенный уголок и необычный час. К чему нам хор свидетелей, и каких еще вдобавок! Ведь сегодня нас сводит вместе не сентиментальная, слабохарактерная потребность, ведь мы оба научились жить одиноко в гордой разобщенности. Не ради нас самих, не ради культа нежных чувств или патетической картины дружеского свидания решили мы повидаться здесь. Мы хотели здесь, где некогда в достопамятный час я нашел тебя в торжественном уединении, подобно рыцарям новой Фемы, серьезно посоветоваться друг с другом. Пусть слушал бы нас тот, кто нас понимает, но к чему ведешь ты с собой толпу, которая нас, конечно, не поймет. Я не узнаю тебя, мой далекий друг!"

Мы считали неудобным прерывать столь горько жалующего человека и, когда он меланхолически умолк, не осмелились ему сказать, как непристойно было нам это отрицательное отношение к студентам.

Наконец спутник обратился к философу со словами: "Вы напомнили мне, учитель, что в прежние времена, раньше, чем я с вами познакомился, вы учили во многих университетах и до сих пор живы слухи о вашем общении со студентами, о методе вашего преподавания, относящемся к тому периоду. Из безнадежного тона, каким вы сейчас говорили о студентах, многие бы могли заключить, что ваш собственный опыт в этом отношении был неутешителен. Я же, наоборот, думаю, что вы испытали и увидели тоже, что и всякий другой, но судили об этом более строго и правильно, чем остальные, поучительные и важные опыты и события — это те, которые совершаются каждый день, и что именно то, что лежит грандиозной загадкой на глазах у всех, лишь немногими понимается, как таковая, в силу чего такие проблемы лежат нетронутыми у самой проезжей дороги под ногами толпы и в конце концов бережно подбираются немногочисленными истинными философами, чтобы затем сиять в качестве алмазов познания. Быть может, вы нам расскажете в тот короткий промежуток времени, который остается до прибытия вашего друга, о ваших сведениях и опыте в сфере университета и тем завершите круг размышлений, к которым мы невольно пришли в вопросе о наших образовательных заведениях. К тому же мне да будет позволено напомнить вам, что на одной из более ранних ступеней нашего разговора вы даже дали мне такого рода обещание. Вы исходили из гимназии и придавали ей чрезвычайное значение; ее образовательной целью должны были измеряться все остальные учреждения, от уклонения ее тенденции страдали и все остальные. На такое значение движущего центрального пункта не может теперь претендовать даже университет, который, по крайней мере в его теперешнем виде, с одной важной стороны может рассматриваться лишь как надстройка гимназии. Подробности вы обещали мне изложить позже, что, может быть, засвидетельствуют и наши приятели студенты, так как возможно, что они слышали наш тогдашний разговор".

"Мы подтверждаем это", — присовокупил я. Тогда философ обратился к нам и сказал: Ну, если вы действительно слушали, то можете мне сказать, что вы понимаете после всего сказанного под современной гимназической тенденцией. Кроме того, вы еще достаточно близки этой сфере, чтобы быть в состоянии проверить мои мысли нашим опытом и впечатлениями".

Мой друг по обыкновению быстро и находчиво ответил приблизительно следующее: "До сих пор мы всегда думали, что единственная задача гимназии — подготовка к университету. А эта подготовка должна нас сделать в достаточной мере самостоятельными для чрезвычайно свободного положения студента. Ибо мне кажется, что ни в одной из областей современной жизни личности не предоставлено решать и распоряжаться столь многим, как в области студенческой жизни. Студент должен уметь руководить собой в продолжение многих лет на широком, совершенно свободном поле действия. Следовательно, гимназии приходится стараться сделать его самостоятельным".

Я продолжил речь моего товарища. "Мне даже кажется, — сказал я, — что все то, что вы, конечно, вполне справедливо, порицаете в гимназии, — лишь необходимые средства для возбуждения в таком раннем возрасте известной самостоятельности или по крайней мере веры в нее.

Этой самостоятельности и должно служить преподавание немецкого языка: индивид должен рано сознавать свои воззрения и намерения, чтобы учиться ходить самостоятельно, без костылей. Поэтому его рано побуждают к творчеству, а еще раньше к строгому обсуждению и критике. Если латинские и греческие уроки не в состоянии зажечь в ученике любовь к далекой древности, то все же метод их преподавания будит в нем научное понимание, пристрастие к строгой причинной связи знания, жажду поисков и открытий. Разве многие из нас не поддаются надолго обаянию науки, благодаря найденному в гимназии и схваченному юношеским восприятием какому-нибудь новому разночтению? Многому должен научиться гимназист и многое собрать в себе. Отсюда, вероятно, и вырастает стремление, руководясь которым он в последствии, в университете, подобным же образом

самостоятельно учиться и собирает. Короче, мы полагаем, что тенденция гимназии в том, чтобы настолько подготовить и приучить ученика, чтобы он в последствии мог самостоятельно жить и учиться так же, как он вынужден был жить и учиться, подчиняясь гнету гимназического строя".

Философ засмеялся на эти слова, однако не совсем добродушно и сказал: "Сейчас вы дали мне хороший образец такой самостоятельности. Именно эта самостоятельность и пугает меня и делает для меня всегда столь малоотрадней близость современных студентов. Итак, дорогие мои, вы готовы, вы выросли, природа разбила вашу форму, и ваши учителя могут любоваться на вас. Какая свобода, определенность, беззаботность суждения, какая новизна и свежесть воззрений! Вы усаживаетесь на судейских креслах — и культуры всех времен убегают прочь. Научный дух зажжен, и пламя его языками вырывается из вас — осторожней, как бы от вас не сгореть! Если я возьму вдобавок еще ваших профессоров, то получу еще раз ту же самую самостоятельность, но в более сильной и привлекательной степени. Ни одна эпоха не была еще так богата столь прекрасными самостоятельными личностями, никогда не ненавидели так сильно всякое рабство, включая, конечно, и рабство воспитания и образования.

Но позвольте приложить к вашей самостоятельности и масштаб именно этого образования и рассматривать наш университет лишь как образовательное учреждение. Когда иностранец желает познакомиться с нашей университетской системой, то он прежде всего с ударением спрашивает: "Чем связан у вас студент с университетом?" Мы отвечаем: "Ухом, так как он слушатель". Иностранец удивляется. "Только ухом?" — еще раз спрашивает он. "Только ухом", — еще раз отвечаем мы. Студент слушает. Когда он говорит, смотрит, находится в обществе, когда он занимается искусством — одним словом, когда он живет, он самостоятелен т. е. независим от образовательного учреждения. Часто студент одновременно пишет и слушает; это моменты, когда он прикреплен к самой пуповине университета. Он может выбрать, что желает слушать, и ему незачем верить тому, что он слышит: он может заткнуть уши, когда не захочет слушать. Таков акроаматический метод преподавания.

Преподаватель же говорит к этим слушающим студентам. То, что он помимо того слушает и делает, непроходимой пропастью отделено от восприятия студентов. Часто профессор, говоря, читает. В общем ему бы хотелось иметь как можно больше таких слушателей; в крайности он довольствуется и немногими. Но почти никогда одним. Один говорящий рот, очень много слушающих ушей и вполтину меньше пишущих рук — таков внешний академический аппарат, такова пущенная в ход образовательная машина университета. Во всем остальном владелец этого рта совершенно отделен и незаменим от владельцев этих ушей; и эту двойную самостоятельность с гордостью восхваляют как академическую свободу. Кроме того, чтобы еще расширить эту свободу, один может говорить приблизительно все, что он хочет, другие приблизительно слушать, что захотят. А позади обеих групп на почтительном расстоянии стоит государство с напряженной физиономией надсмотрщика, чтобы время от времени напоминать, что оно является целью, конечным пунктом и смыслом всей этой странной говорильной и слушательной процедуры.

Таким образом мы, кому разрешено считать этот курьезный феномен образовательным учреждением, сообщаем вопрошающему нас иностранцу, что образование в нашем университете есть то, что передается ото рта к уху и что все воспитание, направленное к образованию, только акроаматично. Но так как слушание и выбор того, что слушать, предоставлены самостоятельному решению свободно настроенного студента, так как последний, с другой стороны, может не признать достоверности и авторитетности всего того, что слушает, то, строго говоря, все воспитание, направленное к образованию, попадает в его руки, и та самостоятельность, за которой еще гналась гимназия, с гордостью выступает теперь как академическое воспитание для образования и щеголяет своим блестящим оперением.

Счастлирое время, когда юноши достаточно мудры и образованны, чтобы водить самих себя на помочах! Превосходные гимназии, которым удастся насадить самостоятельность там, где иные эпохи находили необходимость насаждать зависимость, дисциплину, подчинение и повиновение и отражать все поползновения кичливой самостоятельности. Становится ли вам теперь ясно, добрейшие, почему я, с точки зрения образования, обыкновенно рассматриваю современный университет как надстройку гимназии? Вращенное гимназией образование подходит к вратам университета как нечто целое, готовое и разборчивое в своих притязаниях: оно предъявляет требования, издает законы, оно судит. Итак, не обманывайтесь насчет образованного студента; поскольку он мнит себя удостоенным посвящения в образование, он все еще остается гимназистом, сформированным руками своих учителей, и, как таковой, со времени своей академической изоляции и окончания гимназии вполне лишен всякой дальнейшей образовательной формировки и руководства; ему предоставляется теперь право жить самому по себе и быть свободным.

Свободным! Исследуйте эту свободу, вы, знатоки людей! Воздвигнутое на глиняном устое современной гимназической культуры, на разваливающемся фундаменте, здание этой свободы покосилось, и каждый порыв ветра угрожает ему. Взгляните на свободного студента, герольда самостоятельного образования, угадайте его инстинкты, растолкуйте себе его потребности. Что вы подумаете о его образованности, если будете мерить его тремя мерилками: во-первых, его потребностью философии, во-вторых, его художественным инстинктом и, наконец, греческой и римской античностью как воплощенным категорическим императивом всякой культуры?

Человек до такой степени осажден самыми серьезными и трудными проблемами, что подведенный к ним

правильным образом рано подпадает под власть того длительного философского изумления, на котором, как на единственно плодородной подпочве, в состоянии вырасти глубокое и благородное образование. Чаще всего к этим проблемам его приводит собственный опыт, и особенно бурные юношеские годы почти каждое личное переживание отражается двояким образом, как экзemplификация повседневности и в то же время вечной, изумительной, достойной объяснения проблемы. В этом возрасте, который видит все свои переживания как бы окруженными метафизической радугой, человек в высшей степени нуждается в руководящей руке, потому что он внезапно и почти инстинктивно убеждается в двояком значении всего существующего и теряет твердую почву до тех пор мнений.

Это естественное состояние крайней потребности в руководстве приходится конечно рассматривать как злейшего врага той излюбленной самостоятельности, к которой должен быть воспитан образованный юноша нашего времени. Подавлять его, парализовать, отвести в сторону или исказить — вот над чем усердно трудятся апостолы современности, перешедшие уже в лоно самопонятности. И излюбленное средство здесь — парализование этого естественного философского стремления так называемым историческим образованием. Одна еще недавно пользовавшаяся скандальной мировой известностью система изобрела даже формулу для этого самоуничтожения философии. И теперь почти всюду при историческом взгляде на вещи обнаруживается такая наивная непродуманность, такое желание сделать самое неразумное разумным и выставить самое черное белым, что часто хочется, пародируя Гегеля, спросить: "Действительно ли это неразумие?" Увы, как раз неразумное кажется теперь единственно действительным, т. е. действующим, и держание наготове этого рода действительности для объяснения истории и означает собственно историческое образование. В него-то облеклось философское стремление нашей молодежи, и наши странные университетские философы словно сговорились укреплять его в студентах.

Таким образом, мало-помалу на место глубокомысленного толкования вечно неизменных проблем выступило историческое и даже филологическое взвешивание и вопрошание; что думал или ничего не думал тот или иной философ, имеем ли мы право приписывать ему то или другое сочинение или даже какому разночтению отдать предпочтение. К такому нейтральному обращению с философией приучатся теперь студенты в философских семинарах наших университетов. Поэтому я уже давно взял за обыкновение рассматривать подобную науку как разветвление филологии и оценивать ее представителей постольку, поскольку они хорошие или плохие филологи. Но благодаря этому сама философия изгнана из университета; чем и дан ответ на ваш первый вопрос об образовательной ценности университетов.

Об отношении этого самого университета к искусству нельзя говорить без стыда: этого отношения совсем не существует. Здесь нельзя найти даже намека на художественное размышление, изучение, стремление, сравнение, и даже о подаче университетом голоса для поощрения самых важных национальных художественных замыслов никто не будет говорить серьезно. При этом, конечно, не может идти в счет случайная личная причастность к искусству отдельного учителя или существование кафедры для эстетизирующих литературных критиков. Но как целое университет не в состоянии держать академическую молодежь в строгой художественной дисциплине, и если он здесь, обнаруживая полное безволие, дает совершаться тому, что совершается, то в этом заключается безжалостная критика его неумеренного притязания представлять собой высшее учебное заведение.

Без философии, без искусства живут наши самостоятельные академики. Откуда же у них может явиться потребность заняться греками и римлянами, стимулировать пристрастие к которым уже теперь никто не имеет основания и которые к тому же восседают в труднодоступном уединении и царственной отчужденности.

Поэтому университеты нашего времени вполне последовательно совершенно не считаются такого рода отжившими образовательными склонностями и продолжают основывать свои филологические профессуры для воспитания новых исключительных поколений филологов, которым, в свою очередь, предстоит заняться филологическим воспитанием гимназистов, но в третий раз обличающий университет в том, что последний на самом деле не то, за что хвастливо желал бы выдавать себя, т. е. не образовательное учреждение. Когда вы отбросите и греков вслед за философией и искусством, то по какой лестнице подниметесь вы до образования? Ибо при попытке взобраться по лестницу без их помощи ваша ученость — позвольте это вам сказать — будет висеть у вас на шее в виде мертвого груза, вместо того чтобы окрылять вас и поднимать вверх.

Если вы, как честные люди, остались честными на этих трех ступенях познания и признали, что современный студент не способен и не подготовлен к философии, лишен инстинкта к истинному искусству и является по сравнению с греками только варваром, мящим себя свободным, то вы не станете обиженно убегать от него, хотя, быть может, охотно уклонились бы от слишком близкого соприкосновения с ним. Ибо в том, что он таков, он не виновен. Будучи таким, каким вы его узнали, он молчаливо, но беспощадно обвиняет виновных.

Вы должны бы прислушаться к тому таинственному языку, которым говорит самим собой этот без вины виноватый; тогда вы поймете и внутреннюю сущность той охотно выставляемой на показ самостоятельности. Ни один из благородно одаренных юношей не избежал непрестанного, утомительного, сбивающего, обессиливающего, ощущения неудовлетворительности образования. В то время когда он, по-видимому, является единственным свободным среди чиновной и служебной действительности, за свою грандиозную иллюзию свободы он платится постоянно возобновляющимися муками и сомнением. Он чувствует, что сам не в состоянии руководить собой, не в силах помочь самому себе. Тогда он безнадежно окунается в мир

злободневности и поденной работы; самая тривиальная деловитость затягивает его, устало опускаются его члены. Иногда ему снова хочется воспрянуть: он еще чувствует не совсем парализованную силу, которая могла бы удерживать его на поверхности. Гордые и благородные решения зарождаются и растут в нем. Его ужасает возможность так рано погрязнуть в мелочной специализации, и он хвастается за опоры и устои, чтобы не быть унесенным по этому руслу! Напрасно; опоры поддаются — он по ошибке хватается за ломкий тростник. С безутешным чувством пустоты видит он, как разлетаются его планы; его состояние отвратительно и унижительно: напряженная деятельность сменяется меланхолической апатией. Тогда он становится усталым, ленивым, трусит работы, пугается всего великого и ненавидит себя самого. Он анализирует свои способности и находит только пустые или же хаотически заполненные пространства. С высот измышленного самопознания он снова низвергается в самый иронизирующий скепсис, развенчивая значительность своих борений, он ощущает потребность в какой-нибудь действительной, хотя бы и неизменной полезности. Теперь он ищет утешения в лихорадочной, непрестанной деятельности и прячется от самого себя под ее прикрытие. Таким образом беспомощность и неимение руководителя для своего образования толкают его из одной формы существования в другую; сомнение, духовный подъем, жизненные нужды, надежда, уныние бросают его из стороны в сторону, в знак того что погасли все звезды, руководясь которыми он мог бы направить бег своего корабля.

Такова картина пресловутой самостоятельности и академической свободы, отраженная в лучших и действительно жаждущих образования душах; рядом с ними не могут идти в счет те грубые и беззаботные натуры, которые варварски радуются своей свободе. Ибо последние своим низкопробным довольством и ранним ограничением известной специальности свидетельствуют, что такой элемент для них более подходящий, а против этого нечего возразить. Но их довольствие поистине не перевешивает страданий одного-единственного влекомого в культуру и нуждающегося в руководстве юноши, который в конце концов малодушно бросает поводья и начинает презирать самого себя. Последний является без вины виноватым; ибо кто навязал ему непосильную ношу — одиночество? Кто побуждал его в самостоятельности в возрасте, когда естественной и ближайшей потребностью является доверчивое повиновение великим вождям и вдохновенное следование по путям учителя?

Как-то страшно думать о тех результатах, к которым ведет энергичное подавление столь благородных потребностей. Тот, кто станет вблизи внимательным взором рассматривать наиболее опасных поощрителей, и друзей этой столь ненавистной мне псевдокультуры настоящего, найдет среди них немало таких выроdkов образования, сбивших с правильного пути; внутреннее разочарование довело их до враждебного и озлобленного отношения к культуре, к которой никто не хотел указать им путей. И это вовсе не самые плохие и незначительные люди, которых мы, в метаморфозе отчаяния, встречаем потом в качестве журналистов и газетных писателей; дух известных культивируемых теперь родов литературы можно было бы даже назвать духом отчаявшегося студенчества. Ибо как иначе понять, например, столь гремевшую некогда молодую Германию с ее размножающимися до сей поры эпигонами? Здесь мы опять-таки открываем одичавшую потребность образования, разжигающую само себя до крика: образование — это я! Перед дверьми гимназий и университетов толпится сбежавшая оттуда и теперь принимающая властные мины культура этих заведений — правда, без их учености; так что, например, романист Гутцков может лучше всего сойти за современного уже литераторствующего гимназиста.

Выродок образования — это вещь очень серьезная: и нас несказанно волнует, когда мы видим, что вся наша общественная ученость и журналистика носят на себе клеймо этого вырождения. И как объяснить поведение наших ученых, спокойно взирающих на дело обманывания народов журналистами и даже помогающих ему, если не допустить, что их ученость является для них подобием того, чем для первых служит писание романов, а именно — бегством от самих себя, аскетическим умерщвлением стремления к образованию, безнадежным истреблением индивида. Из нашей выродившейся литературы, так же как из раздувавшегося до бессмысленности книг описания наших ученых, несется тот же самый вздох: "Ах если бы мы могли забыть самих себя!" Но это не удастся: воспоминание, не задушенное даже горами наваленной на него печатной бумаги, все же время от времени твердит: "Выродок образования! Рожденный для образования и воспитанный к необразованности! Беспомощный варвар, раб сегодняшнего дня, прикованный к цепи мгновения и голодный, вечно голодный!"

О, несчастные, без вины виноватые! Вам не доставало чего-то, что должно было быть приготовлено для каждого из вас, — истинного образовательного учреждения, которое дало бы вам цели, учителей, методы, образцы сотоварищей и из недр которого на вас веяло бы возвышающее и животворящее дыхание истинно немецкого духа. Теперь вы гибнете в одичании, вырождаетесь во врагов этого, в сущности, внутреннего родственного вам духа. Вы нагромождаете вину на вину — и они более тяжки, чем вины каких-либо других поколений: вы загрязняете чистое, оскверняете святое, восхваляете лживое и поддельное. На самих себе можете вы оценить образовательную силу наших университетов и серьезно спросить себя: "Что поощряете вы в самих себе?" Немецкую ученость, немецкую изобретательность, честное немецкое стремление к познанию, немецкое самоотверженное прилежание — все это прекрасные и великолепные вещи, в которых другие нации станут завидовать вам: да, самые прекрасные и великолепные вещи в мире, если над всеми ими, подобно молниеносной, оплодотворяющей и благословенной туче, простирается тот самый благословенный немецкий дух. Но вы страшитесь этого духа, и поэтому над вашими университетами тяжело и удушливо нависла другая туча, под

гнетом которой с трудом и усилием дышат наиболее благородные из ваших юношей и безвозвратно гибнут наилучшие из них.

В этом столетии была лишь одна трагическая серьезная и поучительная попытка рассеять эту тучу, открыть просвет на высокое парение облаков немецкого духа. История университетов не содержит более подобной попытки, и тот, кто захочет убедиться доказать, чего им не хватает, никогда не найдет более ясного примера. Это история старых, первоначальных буршеншафтов.

На войне добыл юноша неожиданный и достойнейший боевой трофей — свободу отечества: украшенный этим венком, он стал мечтать о еще благородном. Возвратясь в университет, он задыхался в том удушливом и спертом воздухе, который охватил все области университетского образования. Внезапно его испуганные, широко открытые глаза увидели искусно спрятанное под всякого рода ученостью не-немецкое варварство, внезапно он открыл, что его собственные товарищи, лишённые руководителя, становились жертвами отвратительного юношеского шатанья умов. Это разгневало его. Он поднялся с тем же гордым видом возмущения, с каким, вероятно, некогда Фридрих Шиллер декламировал своим товарищам «Разбойников»; и если тот на заглавном листе своей трагедии поместил изображение льва и надпись *in tyrannos*, то его ученик сам был этим львом, готовым к прыжку. И все тираны действительно затрепетали. Да, эти возмущившиеся юноши не слишком отличались в глазах боязливых и поверхностных людей от разбойников Шиллера; их речи звучали для испуганного слушателя так, что Спарта и Рим в сравнении с ними казались женскими монастырями. Страж перед этими возмущившимися юношами был даже более велик, чем тот, который некогда внушали «Разбойники» придворным сферам. А ведь о последних один немецкий князь, по словам Гете, однажды сказал: "Если бы я был Господом Богом и предвидел возникновение «Разбойников», то я не создал бы мира".

Откуда же происходила непонятная сила этого страха? Ведь эти возмущившиеся юноши были самыми храбрыми, одаренными и чистыми из своих сверстников: великодушная беззаботность, благородная простота нравов выделяла их даже по манерам и костюму, прекрасные обеты соединяли их друг с другом и обязывали к строгой порядочности. Чего можно было тут бояться? Никогда не удастся выяснить, насколько эта боязнь вызывалась самообманом и притворством и насколько — действительным пониманием истины. Но голос упорного инстинкта слышался в ней и в постыдном и бессмысленном преследовании. Этот инстинкт упорно ненавидел две стороны буршеншафтов: во-первых их организацию как первую попытку истинного образовательного института, и во-вторых, дух этого образовательного института, тот мужественный, серьезный, тяжеловесный, твердый и смелый немецкий дух — дух сына горнорабочего Лютера, сохранившийся невредимым со времен реформации.

Подумайте же о судьбе этих организаций вслед за моим вопросом: понял ли немецкий университет этот дух тогда, когда даже немецкие князья в своей ненависти по-видимому постигли его? Обвил ли он смело и решительно своими руками самых благородных из своих сынов со словами: "Убейте меня, прежде чем вы тронете их"? Я слышу ваш ответ; но по нему вы можете судить, является ли немецкий университет немецким образовательным учреждением.

В те времена студент чувствовал, в каких глубинах должно корениться истинное образовательное учреждение; а именно во внутреннем обновлении и возбуждении самых чистых нравственных сил. И это должно всегда быть поставлено в заслугу студенту. На полях сражения он научился тому, чему меньше всему мог научиться в сфере академической свободы: что нужны великие вожди и что всякое образование начинается с послушания. И в разгар победоносного ликования, при мысли о своей освобожденной отчизне он дал себе обещание оставаться немцем. Немцем! Теперь он научился понимать Тацита, теперь он постиг категорически императив Канта и тал восхищаться музыкой лиры и меча Карла Марш фон Вебера. Врата философии, искусства, самой древности распахнулись перед ним, и в одном из достопамятнейших кровавых деяний, в убожестве Коцебу, он с глубоким инстинктом и близорукостью мечтателя отомстил за своего единственного, преждевременно замученного противодействия костного мира Шиллера, который мог бы быть его вождем, учителем, организатором и из которого он теперь оплакивал с такой сердечной горечью.

Ибо несчастье владевших даром предчувствия студентов было в том, что они не нашли вождей, в которых нуждались. Мало-помалу они сами стали не уверены, не согласны, не довольны; несчастные случайности слишком скоро показали, что их среде недостает такого все осеняющего гения. И упомянутое символическое кровавое дело обнаружило на ряду с ужасающей силой так же и ужасающую опасность такого недостатка. У них не было вождя — и в силу этого они погибли.

Итак, я повторяю, друзья мои, всякое образование начинается с противоположности всему тому, что теперь восхваляют под именем академической свободы, — с повиновения, с подчинения, с дисциплины, со служения. И как великие вожди нуждаются в последователях, так и руководимые люди нуждаются в вождях. Здесь в иерархии умов господствует взаимное предопределение, род предустановленной гармонии. Этому вечному порядку, к которому по естественному закону тяготения постоянно снова стремятся все вещи, хочет противодействовать, нарушая и разрушая его, та культура, которая теперь восседает на престоле современности. Она хочет унижить вождей до роли своих батраков или довести их до гибели. Она подсматривает за нуждающимися в руководстве, когда они ищут предназначенного им руководителя, и притупляет одурманивающими средствами их ищущий инстинкт. Но если, несмотря на это, взаимно предназначенные друг для друга натры встречаются, избранники после упорной борьбы, то они испытывают глубоко волнующее

отрадное чувство, подобно тому, какое возбуждают звуки вечной мелодии струн, — чувство, о котором я хотел бы вам дать понятие путем сравнения.

Приглядывались ли вы когда-нибудь внимательно на музыкальной репетиции к удивительной, сморщенно-добродушной разновидности человеческого рода, из которой обыкновенно вербуются немецкий оркестр? Какая игра своенравной богини формы! Что за носы и уши, что за связанные или одеревенелые и угловато-сухие движения! Представьте только, что вы глухи и не имеете никакого понятия о существовании музыки и звука и что вам приходится наслаждаться зрелищем оркестровой революцией как чисто пластической игрой. Не развлекаемые идеализирующим воздействием звуков, вы не сможете досыта налюбоваться этими дубоватыми фигурами, напоминающими средневековую резьбу по дереву, этой безобидной пародией на *homo sapiens*.

Затем вообразите, что ваша способность воспринимать музыку снова вернулась, ваши уши открылись и во главе оркестра появился добросовестный и заурядный махальщик, размеренно отбивающий такт. Комизм фигур для вас уже исчезает, вы слушаете — но вам кажется, что влияние скуки переходит от добросовестно отбивающего такт дирижера к музыкантам. Вы замечаете только вялость, размягченность, вы слышите лишь ритмические недочеты, пошлость мелодии и тривиальность передачи. Оркестр становится для вас простой массой, вызывающей безразлично докучное или даже неприятное чувство.

Но пусть ваша окрыленная фантазия посадит гения, настоящего гения в центр этой массы — и вы тотчас заметите невероятную перемену. Вам покажется, будто этот гений с быстротой молнии вселился в эти полузверинные тела и будто из всех их теперь, в свою очередь, глядит лишь одно демоническое око. Смотрите же и слушайте — вы никогда не пресытитесь! Рассматривая теперь снова охваченный торжественной бурей или звучащей задушевной жалобой оркестр, вы почувствуете напряжение каждого мускула и ритмическую необходимость каждого жеста и тогда поймете, что такое предустановленная гармония между вождем и ведомыми и каким образом в иерархии умов все стремится к аналогичной организации. Итак, на приведенном мною сравнении уразумейте, что я хотел бы понимать под истинным образовательным учреждением и почему я далеко не узнаю таковой в университете".

ПРЕДПОЛАГАВШИЙСЯ ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ЛЕКЦИЙ

а. набросок шестой лекции

(оптимистической и преисполненной надежд)

(весна 1872 г.)

Мой друг пошел на встречу.

Прежде только на развалинах.

Теперь является надежда на метафизическое воздействие войны.

Речь о Бетховене.

Задача: найти подходящую к нему культуру.

Предпоследняя сцена: как должно идти образование отдельного человека.

Как это единственно возможно.

Одиночество. Борьба.

Рассказ. Два учителя (Шопенгауэр, Вагнер).

Последняя сцена: как предвосхищение учреждения будущего.

"Огонь очищается от дыма".

"*Pereat diabolus atque irrsors*".

Речь о будущем. Призыв к настоящим «учителям».

Мгновенное осуществление будущего.

Полночная клятва. Суд Фемы.

б. К шестой и седьмой лекции

(разочарованно-пессимистической)

(осень 1872 г.)

VI и VII лекции. Контраст художника (литератора) и философа. Художник вырождается. Борьба. Студенты остаются на стороне литератора.

* * *

Философ под конец говорил стоя вблизи пентаграммы, опустив глаза вниз. Внезапный яркий свет внизу у опушки леса. Мы ведем его навстречу. Приветствия. Тем временем студенты сооружают костер.

Сначала частный разговор в стороне. "Почему так поздно?" Только что пережитый триумф — рассказ.

Философ опечален: он не верит в этот триумф; он предполагает принуждение, которому друг должен уступить. "Для нас ведь здесь не существует обмана?" Он напоминает об их юношеском согласии. Друг выдает себя, он обращен. Он реалист. Растущее разочарование философа.

Студенты приглашают другого к пылающему костру, чтобы произнести речь. Он говорит о современном немецком духе (популяризация, самостоятельность, сомкнутость шеренг, историчность, работа для потомства (не делаться зрелым), немецкий ученый — как расцвет.) Естествознание.)

"Ты лжешь". Страстное возражение философа. Различие между немецким и лженемецким: торопливость, незрелость, журналист, образовательные лекции, отсутствие общества, надежда на естествознание. Значение истории. Надменное сознание победителя — мы победители, нам служит все воспитание, всякий национальный подъем Страсбургский университет). Глумление над эпохой Шиллера-Гете.

Протест против такого использования великих национальных подъемов: не надо новых университетов. Но чем сильнее берет верх тот дух и вторгающееся варварство, тем несомненное соединение наиболее сильных натур, которые окажутся оттесненными в сторону.

Опасность разобщенности беспредельна. Описание будущего этого союза. Тяжелый вздох; где точка исхода? Молитва о зародыше спасения. Указание на новое искусство.

Костер с треском обрушивается. Он восклицает: "Слава этим желаниям!" Бьет полночь.

Ответный возглас: Проклятие этим желаниям!"

Студенческая процессия с насмешками удаляется: pereat diabolus atque irrisores.

Горестное отречение от старого друга.

Мы потрясены и пристыжены.